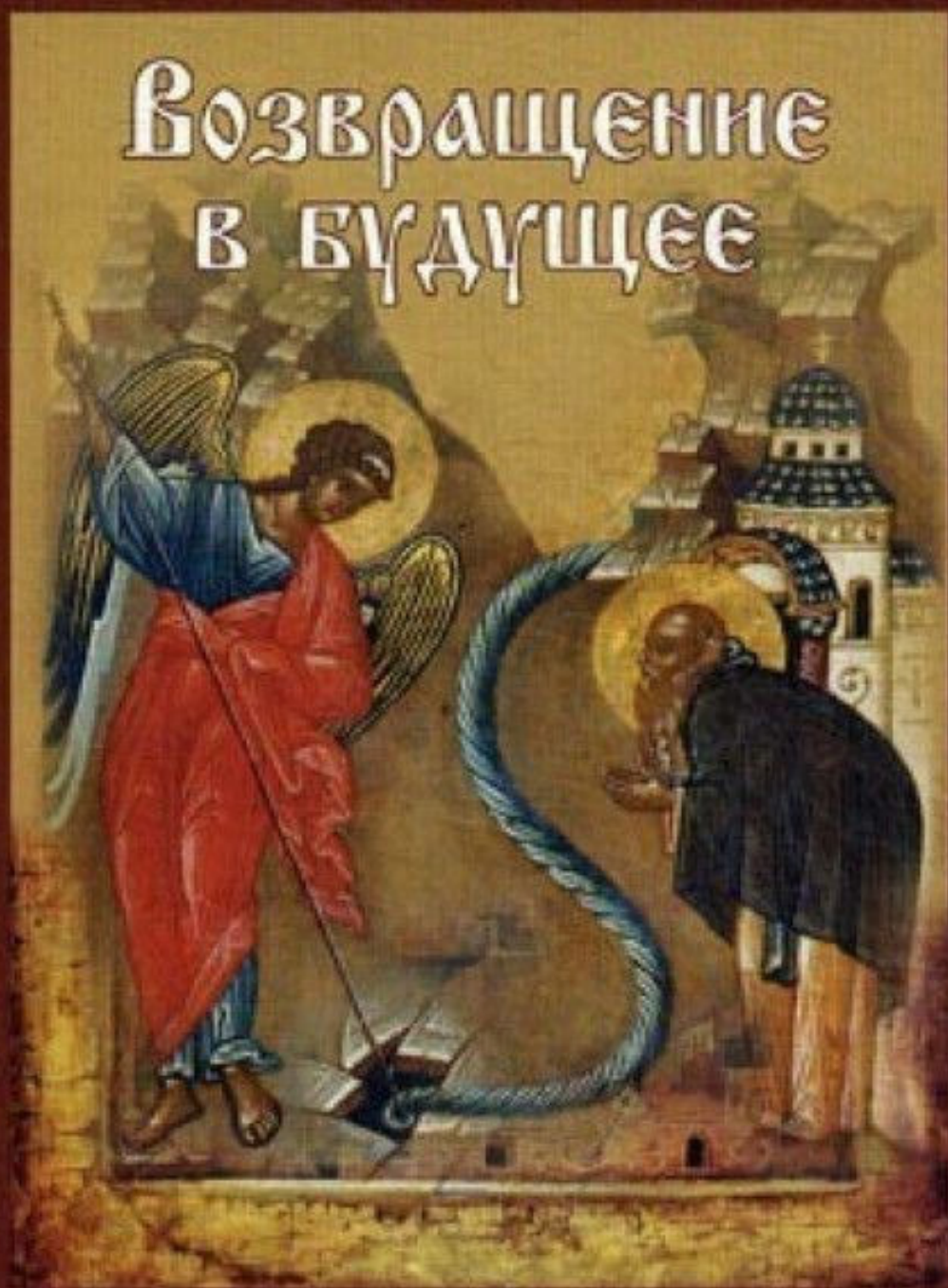


Сергей МАЛИНИН

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В БУДУЩЕЕ



Георгий Победоносец

Сергей Малинин

**Георгий Победоносец.
Возвращение в будущее**

«ХАРВЕСТ»

2015

УДК 821.161.1(476)-312.4
ББК 84(4Бей=411.2)-445.7

Малинин С.

Георгий Победоносец. Возвращение в будущее / С. Малинин —
«ХАРВЕСТ», 2015 — (Георгий Победоносец)

ISBN 978-985-18-3572-6

Продолжение историко-приключенческой драмы, в которой главные герои предпримут полное опасностей и неожиданных поворотов путешествие по Великой Руси, Речи Посполитой, германским землям и доберутся до шумного портового города Лиссабона.

УДК 821.161.1(476)-312.4
ББК 84(4Бей=411.2)-445.7

ISBN 978-985-18-3572-6

© Малинин С., 2015
© ХАРВЕСТ, 2015

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	19
Глава 3	35
Глава 4	45
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Сергей Малинин

Георгий Победоносец.

Возвращение в будущее

Глава 1

Взмахнув широкими крыльями, старый ворон поднялся в ясное утреннее небо, в несколько мощных взмахов набрал высоту и стал медленно описывать круги в наливающимся дневной синевой поднебесье, озирая свои охотничьи уголья в поисках добычи. Мелкие лесные пичуги, что уже начали пробовать голоса, славя приход дневного светила, испуганно умолкали, заметив беззвучно скользящий в высоте смертоносный чёрный крест. Ворон парил в вышине, лоя распахнутыми крыльями восходящие воздушные потоки, и почти не обращал внимания на испуганную птичью суету внизу: он искал иную, куда более богатую и лакомую добычу, которую ему частенько оставляли на обочинах дорог, в полях и на опушке леса странные и нелепые бескрылые существа, именующие себя людьми.

Вскоре такая добыча обнаружилась. Углядев с высоты крохотную прогалину в густом сосновом бору, ворон снизился, описывая сужающиеся круги. Его взору предстала знакомая картина: круг седой золы посреди прогалины, в центре которого чернели остывшие головешки, мирно щиплющая траву лошадь и распростёртое на траве поодаль от кострища недвижимое тело. Ворон каркнул, на свой манер славя Бога, который в последнее время был к нему щедр, и спикировал на прогалину.

Разбуженный его скрипучим криком человек шевельнулся, откинул попону, которой укрывался от ночного холода и утренней росы, и сел, широко зевая и протирая кулаком заспанные глаза. Ворон снова каркнул, на сей раз с явным разочарованием, и забил крыльями, набирая потерянную высоту.

– Пся крэв, – проворчал человек, отлично понявший, чего хотел от него старый падальщик, и, в последний раз длинно зевнув, поднялся на ноги.

Солнце ещё не показалось над макушками деревьев, и трава на поляне была седой от мелких капелек росы. Запахнув потёртый, выдавший виды кунтуш и зябко ёжась от утреннего холодка, человек присел на корточки у кострища и принялся раздувать угли. Невесомый пепел взлетел белёсым облачком, среди золы и чёрных головешек зарделся не до конца погасший жар. Положив на тлеющие угли кусочек бересты и несколько заранее припасенных хворостинок, человек подул сильнее. Над кострищем тонкой струйкой поднялся белый дым, и вскоре на поляне, распространяя вокруг живительное тепло, уже горел небольшой костерок.

Согрев озябшие ладони, человек подержал над огнём оставшийся от вчерашнего ужина кусок зайчатины и торопливо перекусил, заедая мясо чёрствым хлебом и запивая плескавшейся в плоской кожаной фляге водой. Трапеза получилась скудная, прямо-таки монашеская, но человека это не опечалило: цель путешествия была близка, и он знал, что ещё до наступления вечера поест вдоволь и выпьет столько вина, сколько сумеет в себя влить.

Кое-как утолив голод, он затоптал костёр, подпоясался широким кушаком, перекинул через плечо перевязь сабли и, бормоча ласковые слова, водрузил на спину гнедой лошади седло, которое уже много ночей подряд служило ему изголовьем. Затянув подпругу, путник перекинул через лошадиную холку тощую перемётную суму, из которой с обеих сторон красноречиво торчали рукоятки дорогих фряжских пистолей, и одним ловким, непринуждённым движением бывалого наездника взлетел в седло. Сабля в потёртых ножнах негромко лязгнула о стремя; всадник оправил перевязь, двумя привычными плавными движениями разгладил

пышные, свисавшие подковой усы, с неудовольствием потёр заросший многодневной рыжеватой щетиной подбородок и толкнул коленями лошадиные бока.

Отдохнувшая лошадь бежала резво, будто, как и седок, торопилась поскорее закончить долгое путешествие и очутиться в родной конюшне, перед кормушкой, полной отборного овса. Над верхушками деревьев показался краешек солнца, и лежавшая на траве и листьях роса засверкала, словно кто-то рассыпал по лесу неисчислимое множество бриллиантов. Одинокого всадника все эти красоты оставили равнодушным, ибо он был сыт ими по горло и хотел лишь поскорее сменить синий купол небес над головой на прочную тёсовую крышу, а пропахшую конским потом попопу и жёсткое седло под головой – на мягкую постель. Общество верного скакуна, сколь бы приятным оно ни было для старого рубаки, после продолжительной поездки стало сильно уступать в его глазах обществу экономки – пусть уже немолодой и весьма ворчливой, но всё-таки женщины, а не бессловесной скотины, которая только и умеет, что фыркать, ржать да хрустеть овсом.

Долгое путешествие осталось позади, и это радовало всадника, хотя поездка, увы, получилась напрасной, не принеся желанного результата. Вместо тугого кошель, под завязку набитого золотом, всадник вёз домой лишь короткую, запечатанную восковой печатью грамоту да ещё более краткое словесное послание, в коем не содержалось ничего утешительного или хотя бы обнадеживающего. Впрочем, всё это были не его заботы; преодолев множество опасностей и преград, он выполнил порученное дело, и в том, что дело сие кончилось ничем, не было его вины. Уже одно то, что, проделав такой долгий и опасный путь, он возвращался живым и невредимым, казалось чудом и могло быть поставлено ему в заслугу. А если хорошенько подумать, приходилось признать, что, будь при нём вместо никому не нужного бумажного свитка тугой кошель, его шансы на возвращение были бы невелики – во всяком случае, намного меньше, чем теперь, когда все находившиеся при нём ценности исчислялись немолодой лошадью, парой пистолей, саблей, потёртым кунтушом да стоптанными сапогами. В порубежных землях вдоль зыбкой, всё время меняющейся границы между Речью Посполитой и владениями московского царя Фёдора Иоанновича, давно уже стало беспокойно. Тут водились хищники пострашнее ворона, который разбудил путника на рассвете, и, чтобы проехать через эти места, сохранив имущество и жизнь, требовалась не только изрядная сноровка, но и большая удача.

К тому времени, когда солнце высушило росу, вековой сосновый бор остался позади, и путник выехал на открытое, слегка всхолмленное пространство с ярко-зелёными заплатами возделанных полей и беспорядочно разбросанными купами деревьев. Вдали показались и стали медленно приближаться островерхие, увенчанные четырёхконечными крестами башни костёла, а вскоре стали видны и соломенные крыши деревушки, приютившейся у подножия устремлённого в небо каменного исполина. По сторонам дороги начали попадаться занятые полевыми работами крестьяне. Те, что оказывались ближе к дороге, при появлении всадника бросали работу и, ставив с кудлатых голов шапки, низко ему кланялись: его в здешних местах хорошо знали, да и экипировка его прямо указывала на принадлежность к дворянскому сословию. Правда, кое-где видневшиеся на кунтуше и даже на сапогах прорехи и заплаты столь же прямо, без обиняков, говорили о плачевном состоянии, в коем пребывали финансовые дела пана Тадеуша Малиновского; увы, он относился к той немалочисленной разновидности однодворной загоновой шляхты, о представителях которой мужики, посмеиваясь в усы, говорили: «Паны – на двоих одни штаны; кто первый встал, тот и надел». Дед пана Тадеуша был пожалован шляхетским званием за добровольное участие в одной из многочисленных военных кампаний того времени; обретя дворянскую честь, ни он, ни его потомки, увы, не стяжали богатства, и жить им приходилось плодами собственных трудов, с чего, как известно, особенно не разживёшься.

Ныне пан Тадеуш возвращался из долгого и опасного путешествия в самое сердце Московского государства, куда был послан владетелем здешних мест, паном Анджеем Закревским.

У пана Анджея было частное дело к тѣзке, русскому князю Андрею Басманову; для улаживания оногo дела пану Анджею потребовался верный, сметливый и храбрый гонец, на роль которoго пан Тадеуш Малиновский годился как никто иной: он не единожды сходилcя с москoвитами лицом к лицу в лихой сабельной рубке, а однажды провѣл у них в плену полных два года, будучи вместе с иными военнопленными отпущен домой царем Фѣдором Иоанновичем в день его помазания на российский престол.

За два года пан Тадеуш успел недурно овладеть русской речью, так что лучшего посланника пану Закревскому было не найти. Правда, как уже было сказано, миссия пана Тадеуша не увенчалась успехом, но его вины в том не было ни капли: там, где он не преуспел, кто-то другой может быть и вовсе сложил бы голову. Свежие зазубрины на лезвии сабли и простреленная пулей пола кунтуша служили тому наилучшим подтверждением, коего, впрочем, от него и не требовалось: пан Анджей был дружен с паном Тадеушем с младых ногтей и доверял ему, как себе.

Торопя коня, пан Тадеуш проехал мимо поворота на просѣлок, который вѣл к его наследственному имению, представлявшему собой обыкновенный и притом далеко не богатый хутор. Повернув голову, всадник бросил взгляд на маячившее в отдалении тѣмное облако зелени, обозначававшее росший на хуторе фруктовый сад, и облизнул пересохшие губы, вспомнив об ожидающем его в холодной кладовке бочонке доброго вина. Вслед за вином на ум вполне естественным порядком пришли жареный каплун и сочащийся прозрачным жиром, покрытый аппетитной золотистой корочкой свиной окорок. В животе у пана Тадеуша заурчало, рот наполнился слюной, и он подхлестнул усталую лошадедку, торопясь поскорее покончить с делами, чтобы ещѣ до заката попасть домой.

* * *

Князь Андрей Иванович Басманов, пригнув голову в низком дверном проѣме, переступил порог и вошел в горницу дочери. Невзирая на немолодой уже возраст, князь все ещѣ сохранял прямую осанку и гордый разворот широких плеч, более приличествующий воину, нежели убеленному сединами государственному мужу. Впрочем, седины в бороде и волосах князя Басманова было не так уж и много, да и долгим разговорам в Большой палате Кремлевского дворца он, как и прежде, предпочитал лихую рубку в чистом поле. Следствием этого была порой излишняя прямота и резкость суждений и поступков; князь Андрей был твѣрд и надежен, как булатный клинок, и, как лезвие булатного меча, лишен гибкости.

Эти качества, весьма похвальные для простого воина, не всегда встречают должное понимание при дворе; за два года до смерти царя Ивана Васильевича, недаром прозванного Грозным, князь Басманов впал в немилость, был подвергнут опале и сослан в Нижний Новгород, откуда вернулся лишь с воцарением на российском престоле Фѣдора Иоанновича. Борис Годунов, без совета которoго государь ныне не мог ступить и шагу, неизменно являл к Андрею Ивановичу благосклонность. Благосклонность эта князю изрядно претила, ибо исходила от человека, коего он всегда считал худородным выскочкой, утвердившимся подле государева трона на сложенной из голов родовитых бояр кровавой пирамиде, однако ж, наученный горьким опытом, мнение свое держал при себе, не делясь им ни с кем, даже со своими домочадцами. К тому же, почитая пользу государства Российского превыше своей собственной, князь признавал, что, как ни плох Годунов, без него, верно, было б ещѣ хуже.

Накануне князь имел с боярином Годуновым долгий разговор с глазу на глаз. Разговор этот был у них не первый и даже не второй, и речь в этот раз, как и во все предыдущие, шла все об одном и том же. Боярин, как всегда, многословно сетовал на бесчинства поляков, кои не прекращали разорительных набегов на окраинные земли государства, чиня тем немалый вред, и явно готовились развязать новую большую войну, старательно вербуя союзников в Европе.

Давний недруг России, Швеция, была на их стороне; островная Англия, хоть и предпочитала честную торговлю войне, находилась чересчур далеко и вовсе не стремилась лезть в драку, а Германия уже который десяток лет колебалась, не зная, чью сторону принять. В этом смысле, говорил боярин Годунов, желание одного из членов императорской семьи связать себя узами брака с равной себе по происхождению русской княжной можно считать истинным Божиим даром, ибо брак сей, несомненно, склонит чашу весов в сторону России.

Оспорить рассуждения боярина было трудно, да князь и не видел смысла их оспаривать: поляки действительно наседали, и женитьба двоюродного брата императора Фердинанда на благонравной девице старинного русского рода, если и не могла принести великой пользы, раз и навсегда смилив злокозненных ляхов, то и вреда не нанесла бы. Дело, с какой стороны на него ни посмотри, затевалось благое; это князь Андрей Иванович понимал хорошо и спорить с этим не собирался. Непонятно было иное: почему для сего благого дела избрали именно его дочь, княжну Ольгу, а не иную какую-нибудь девицу? Нешто мало на Руси незамужних боярышень да княжон?

Однако же это, единственное, возражение было не совсем того рода, кои стоит приводить в разговоре о делах государевых, а вернее – совсем не того. Ведь, ежели подумать, дочери князя, а стало быть, и ему самому, оказали великую честь. Не всякому выпадает сослужить государю верную службу, и никто не вправе от оной отказываться. Мужчине пристало служить отечеству на поле брани, и это, между прочим, никого не удивляет: на то он и муж, чтоб, если понадобится, сложить голову за царя и святую Русь. И верно говаривал покойный царь Иван Васильевич, что для пользы государства не должно жалеть ни жены, ни мужа, ни отца с матерью, ни детей своих. Вот и сын его, Фёдор Иоаннович, вослед за отцом, а паче того, за боярином Годуновым то же неустанно повторяет. И как ты им возразишь? Как скажешь: не отдам, мол, дочку замуж в чужую сторону? Такие слова изменой пахивают!

Так вот, начав с общих рассуждений о благе государства и выгодах, которые можно было б извлечь из брака княжны Ольги Басмановой с кузеном императора Фердинанда, Карлом Вюрцбургским, боярин Годунов вдруг огорошил Андрея Ивановича вестью, которая ему, боярину, представлялась благой: накануне вернулся отправленный к императору Фердинанду с посольством боярин Толубеев и, помимо всего прочего, привёз грамотку от молодого герцога Вюрцбургского. Герцог писал, что очарован прелестями и кротким нравом княжны Басмановой, кои столь живо описал ему боярин, и готов хоть сию минуту взять её в жены.

Андрей Иванович сильно подозревал, что молодой герцог прельстился не столь красотой, молодостью и добрым нравом юной княжны, сколь богатым приданым: как ни крути, а золото лишним не бывает. Видно, и кузен его, император Фердинанд, поразмыслив, молвил слово в пользу этого брака, так что дело сие можно было считать решённым, и не князю Басманову, единственно милостью государя Фёдора Иоанновича возвращённому из ссылки, было противиться царской воле. А коли сам князь не мог тому противиться, так дочери его, княжне Ольге, покорствовать сам Бог велел.

Словом, умом князь Басманов понимал всё очень хорошо, но отцовское сердце всё едино ныло, предчувствуя скорую разлуку. С тех пор как сын его, княжич Иван Андреевич, был убит стрелой в бою со швейскими ландскнехтами, дочь стала для князя единственным светом в окошке. И теперь, когда княжна Ольга нежданно-негаданно сделалась заложницей большой политики, Андрей Иванович горько сожалел о том, что не выдал её замуж раньше. Ведь были женихи, и недурные! А он всё перебирал: тот худого рода, этот небогат и, по всему видать, охотится за приданым, а иной собою нехорош... На самом-то деле, конечно, виноваты были не женихи, а он сам: жалко было дочь, последнюю родную кровиночку, в чужой дом отдать, хотелось оттянуть разлуку хотя б ещё на год-другой. Эх, кабы загодя знать, как оно обернётся! Давно б уж замужем была и горя не ведала. А ныне что? Увезут за тридевять земель, и сви-

деться, поди, уж не доведётся. Да ещё перекрестят в нечестивую лютеранскую веру, а это всё равно, что родную дочь вдругорядь потерять...

Посему, входя в светёлку дочери, князь пребывал далеко не в лучшем расположении духа. Однако при виде княжны, которая, сидя на лавке у окна, занималась, по обыкновению, вышиванием, глубокая морщина меж бровей Андрея Ивановича разгладилась, а губы под пышными усами тронула тень улыбки. Княжна Ольга и впрямь была хороша – хороша настолько, что для того, чтоб ею восхищаться, вовсе не обязательно было состоять с нею в родстве. Падавший через слюдяное оконце полуденный свет мягко переливался на заплетённых в тяжёлую косу волосах и золотил нежный пушок на обращённой к окну щеке. Подняв голову, княжна увидела отца и, отложив пяльцы, низко ему поклонилась. Просторный, богато вышитый сарафан не мог скрыть гибкости девичьего стана; заплетённая синей атласной лентой коса, соскользнув с плеча, коснулась чисто вымытого, выскобленного добела пола.

Подойдя к дочери, князь поцеловал её в лоб, усадил обратно на лавку и, присев рядом, завёл разговор издали, прямо как боярин Годунов давеча говорил с ним самим, – о том, что на семнадцатом году девице, поди, скучно день-деньской сидеть за пяльцами да слушать глупые пересуды мамок и горничных, а ещё о том, что Божий свет велик и зело предивен, и что княжне, верно, было б любопытно поглядеть, что в сём свете деется.

Княжна слушала его с почтительным вниманием, как и подобает благонравной, воспитанной в надлежащей строгости девице, а дослушав, мягко заперечила, сказавши, что сидеть за пяльцами ей нисколечко не наскучило, и что, сколь бы ни был дивен Божий свет, лучшего места для себя, чем отчий дом, она не чаёт.

Такой ответ, сколь ни был лестен для князя, ныне его не устраивал. Крякнув и с неловкостью кашлянув в кулак, он напрямую перешёл к делу, которое ему самому было едва ли не более неприятно, чем княжне.

– Что ж ты, душа моя, – с шутливым укором молвил он, – так и чаешь до старости в девичьей светёлке с шитьём просидеть? Неужто замуж не хочется?

– Замуж-то, поди, всем охота, – слегка зардевшись, ответила княжна Ольга. – А только как же я тебя, батюшка, одного-то оставлю?

Князь вздохнул. То-то и оно!

– А как же иначе-то? – сказал он. – Так исстари заведено, чтоб птенцы, оперяясь, родное гнездо покидали. Сколь яблочку наливному на ветке ни висеть, а не миновать на землю пасть. И куда оно укатится, то одному Богу ведомо...

Сказав про яблочко, что может укатиться далеконько от родной яблоньки, князь спохватился, что сболтнул лишнего. Однако княжна, казалось, не заметила его оговорки.

– Нешто жених для меня сыскался? – потупив взор, чуть слышно спросила она.

– Сыскался, – кивнул князь. – Да какой жених-то! Ей-богу, лучший и во сне не приснится!

Истинно, королевич.

– Королевич?

Уловив в голосе дочери беспокойные, тревожные нотки, Андрей Иванович уже не в первый раз отметил про себя, что княжна не только красна собою, но и умна да сметлива – пожалуй, даже чересчур сметлива для воспитанной в строгих правилах девицы, коей не подобает вникать в мужские дела. Из всего разговора она мигом выделила главное, ключевое слово – «королевич», намекавшее на иноземное происхождение жениха. И сейчас же подумалось, что боярин Годунов, по всему видать, неспроста остановил свой выбор именно на ней, надеясь, может статься, на то, что со временем Ольга станет вертеть своим Карлом Вюрцбургским, как захочет, по его, Бориса Годунова, подсказке.

– Ну, не так, чтоб совсем уж королевич, – с улыбкой кладя на голову дочери большую ладонь, молвил князь, – но вроде того. Ландграф Вюрцбургский, Карлом звать.

– Карлой? – испугалась княжна Ольга.

Андрей Иванович усмехнулся. Этак же хотелось пошутить и ему, когда впервой услышал имечко будущего зятя, да пришлось сдержаться: разговор у них с боярином Годуновым шёл не шутейный, а за приоткрытой на два пальца дверью в соседнюю палату почти наверняка скрывался, подслушивая, посланник императора Фердинанда, ежели не сам царь Фёдор Иоаннович.

– Не карла, а Карл, – продолжая улыбаться, хотя внутри всё так и ныло, ровно больной зуб, от близости неминуемой и, по всему видать, вечной разлуки, поправил князь. – На карлу даже и не похож. И рода высокого, императорского, и собою хорош. Да вот, гляди, это он тебе передал.

С этими словами князь извлёк из привешенного к поясу шитого бисером кожаного кошелька тонко сработанный золотой, изукрашенный камнями медальон на затейливой цепочке, нажатием кнопки отомкнул хитрый пружинный замочек немецкого дела и показал дочери спрятанный внутри миниатюрный портрет белокурого молодого человека с воинственно закрученными усами и остроконечной бородкой. Шею Карла Вюрцбургского охватывал, намекая на ратную доблесть, кольчужный воротник, а ниже виднелось зеркало воронёных лат.

Сколь ни был хорош собою изображённый на портрете ландграф Вюрцбургский, при виде его глаза княжны наполнились слезами: она хорошо поняла значение медальона. Сделанный ландграфом дорогой подарок говорил о твёрдости его намерения жениться, а то, что отец принял сей о многом свидетельствующий дар, означало, что и у него уж всё решено окончательно и бесповоротно.

Где находится Вюрцбургская земля, коей предстояло отныне сделаться её родиной, княжна представляла лишь в общих чертах, но и того было достаточно, чтобы понять: это очень далеко, и, покинув отчий дом, она сюда уже вряд ли когда-нибудь вернётся.

Сделав вид, что не заметил двух влажных дорожек, которые пробороzdили побледневшие щёки дочери, князь продолжил многословно, то шутливо, а то всерьёз, расписывать достоинства иноземного жениха. Слезы, особенно женские – просто солёная вода. Сколь ни плачь, а дела тем не поправишь, и плох тот муж, что в поступках своих руководствуется не голосом разума и соображениями государственной пользы, а болью растревоженного женскими слезами сердца. Андрей Иванович знал людей, ступивших на эту скользкую стезю. Все они плохо кончили – одни, отойдя от дел, были скоро забыты, и имена их превратились в пустой звук, иные ж и вовсе сложили головы на плахе, ибо нет более верного пути к лобному месту, чем в мужских делах следовать бабьим советам.

Мысль эту князь также развил перед дочерью – правда, не столь прямо и жёстко, а с надлежащей в подобных делах иносказательной мягкостью. Дочь, как обычно, поняла его вполне и даже не пыталась противиться, спросив лишь, когда надобно ехать.

– Да через недельку, мнится, и тронешься, – сказал на это князь таким тоном, будто речь шла о поездке из Москвы в загородное имение.

– Так скоро? – на сей раз по-настоящему испугалась княжна.

– Да что ж тянуть-то? – так же искренне отвечал князь Басманов. – Тяни не тяни, а чему быть, того не миновать. Да и правильно говорят: долгие проводы – лишние слёзы.

Сказав так, князь поспешно покинул светлицу и, никого более не желая видеть, заперся в своих покоях. Странно, но, отдавая в тот вечер дань зеленой вину с собственной винокурни, Андрей Иванович думал почему-то не столько о дочери и скорой с ней разлуке, сколько о гонце, коего несолоно хлебавши отправил восвояси недели полторы назад. Теперь этот поступок уже не казался ему столь же разумным, как тогда, ибо сулил одинокую старость без утешения и поддержки, а главное, скорый конец княжеского рода Басмановых.

Вслед за мыслями о гонце на ум пришли воспоминания об иных, давних делах, и, сколь ни пытался князь их прогнать, воспоминания эти терзали его до тех пор, пока он не уснул, вконец измученный тяжкими, тревожными думами.

* * *

К сложенному из толстых дубовых брусьев старательно оштукатуренному и выбеленному дому пана Анджея Закревского вела посыпанная чистым песком липовая аллея, что кончалась «кругом почёта» перед парадным крыльцом. В центре этого круга красовалась клумба, запущенный вид которой предательски выдавал состояние финансов пана Анджея. То был ещё не полный упадок, но близость упадка, который казался неизбежным, если только Господь в неизъяснимой милости своей, вняв горячим молитвам пана Закревского, не взял бы на себя труд неким чудесным образом поправить его дела.

Каменное крыльцо украшал портик с деревянными колоннами, сделанными на манер античных, но из-за неумелости строителей, не знавших древнего секрета, казавшимися слегка пузатыми. Дерево колонн растрескалось, краска с него местами облезла, а кирпичные ступени истёрлись так, что зимой по ним стало опасно спускаться – того и гляди, поскользнёшься и со всего маху ахнешься затылком о стылый камень. Под крышей портика свили гнездо ласточки. Сейчас гнездо, являвшее собою ком скреплённой птичьей слюной грязи, пустовало, и из него, покачиваясь на ветру, печально свисали длинные сухие травинки.

Подъехав к крыльцу, пан Анджей, как всегда, бросил на гнездо недовольный взгляд и подумал, что сие сомнительное украшение надобно непременно убрать, и чем скорее, тем лучше. Однако, спешившись и отдав поводья подбежавшему конюху, он немедля забыл о гнезде, как это случалось с ним постоянно. Такая забывчивость объяснялась просто: пану Анджею было жаль ласточек, которые, вернувшись будущей весной из теплых краев, были бы вынуждены вить новое гнездо. Да и забот помимо какого-то гнезда у него хватало с лихвой. Пан Анджей отчаянно нуждался в деньгах, коих ему вечно не доставало – не потому, что он был игрок, кутила или такой уж скверный хозяин, а потому лишь, что так сложились обстоятельства. Помимо былой славы и родовой чести, предки оставили ему в наследство только сильно уменьшившееся поместье, которое после раздачи отцовских долгов сделалось ещё меньше. Теперь его едва хватало на то, чтоб худо-бедно прокормиться; о том же, чтобы обеспечить достойное будущее сыну, думать ныне едва ли приходилось. Оставалась надежда на удачное замужество дочери, однако и тут существовали препятствия, числом три, и звались те препятствия дочерьми соседа пана Анджея, графа Вислоцкого – Эльжбетой, Марией и Анной.

Граф Вислоцкий нуждался в деньгах не менее, а, пожалуй, более отчаянно, чем пан Анджей, и так же, как он, мог рассчитывать только на удачное замужество дочерей – всех трёх, если повезёт, а нет, так хотя бы одной. Перед паном Анджеем у графа имелось неоспоримое преимущество: как-никак, он был граф и состоял в родстве, пускай себе и дальнем, с самими Радзивиллами. Это была недурная приманка для богатых женихов, и если на неё до сих пор никто не клюнул, так, наверное, только потому, что разгульный нрав графа Вислоцкого был широко известен не только по всей Речи Посполитой, но и далеко за её пределами. Золото протекало у графа меж пальцами, как вода, и пустить предполагаемого зятя по миру ему ничего не стоило – решить эту задачку он мог в течение одной ночи, проведённой за игрою в кости.

Но титул есть титул, и охотник сыграть в кости с самой судьбой, когда на кону стоит графская корона, сыщется рано или поздно. Что же до пана Анджея Закревского, то он перед лицом столь сильной конкуренции, да ещё и не имея ничего, что можно было бы назвать достойным приданым дочери, даже титула, и впрямь мог рассчитывать разве что на чудо. Его частенько посещала мысль, что было бы не худо найти где-нибудь в подвале дома замурованный предками клад или ещё как-нибудь неожиданно и скоро разбогатеть.

Клад, однако же, не находился, и, хоть пану Анджею пока удавалось худо-бедно сводить концы с концами, не влезая в долги, ничего доброго он в будущем не предвидел.

Удача улыбнулась ему только единожды, около года назад, да и от той удачи пока не было видно никакой прибыли. Минувшим летом пану Анджею довелось принять участие в военном походе на московские земли. Поход тот, как и многие иные походы, кончился, можно сказать, ничем, не принеся его участникам ни богатой добычи, ни громкой воинской славы. Пошумели, постреляли, не без труда опрокинули русскую порубежную стражу, разорили с десятков деревень, а после дорогу в центральные русские земли заступила рать воеводы Головатого, и, убоявшись кровавого поражения, поляки повернули восвояси.

В том походе, в одной из самых первых стычек с русскими порубежниками, пану Анджею Закревскому повезло захватить пленника. К концу схватки, когда немногочисленный отряд русских ертоульных был частично истреблён, а частично обращён в бегство, пан Анджей приметил одинокого всадника, который отчаянно и лихо отбивался от наседавших со всех сторон поляков. По левому рукаву его кафтана стекала кровь, лицо тоже было в крови, сочившейся из глубокого пореза на лбу, однако одинокий воин, казалось, не замечал полученных ран, продолжая с бешеной энергией и недюжинным мастерством парировать и наносить удары.

Пан Анджей, которого в пылу лихой рубки оттеснили к опушке леса, видел, как русский воин страшными ударами сабли буквально снёс с седла одного, потом другого всадника и, расчистив себе путь, устремился к лесу. Закревский, стоявший почти у него на дороге, послал своего коня наперерез беглецу. На исход схватки это уже никак не могло повлиять, однако кровь старого воина бурлила, как в молодости; охваченный азартом битвы, он на скаку срубил попавшегося на пути пешего бородатого казака, что пытался проткнуть его пикой, и встретил намеченную жертву там, где и рассчитывал – на самой опушке, в двух шагах от спасительной лесной чащобы.

Впрочем, назвать русского порубежника жертвой можно было лишь с большой натяжкой. Сдаваться на милость победителя он не собирался, и, если бы пану Анджею в тот день не сопутствовала удача, неизвестно, как повернулось бы дело. Но она ему сопутствовала; противники на всем скаку скрестили сабли с такой силой, что от клинков полетели искры, а у Закревского от удара до самого плеча онемела рука. Ослабевший от ран русич не удержал саблю в скользкой от крови ладони, и та серебристой змейкой беззвучно нырнула в густую траву. Порубежник – пан Анджей заметил, что тот совсем молод, едва ли старше двадцати лет, – покачнулся в седле, а в следующее мгновение на пути ему встретился толстый сосновый сук, который сшиб его на землю. Потерявший седока конь, фыркая и мотая головой, отбежал в сторону и остановился поодаль, всадник же остался лежать неподвижно, распростёршись на ковре седого мха, кое-где запятнанного алой кровью.

Свидетели этой короткой схватки ещё долго на все лады расхваливали пана Анджея за доблесть и непревзойденное воинское мастерство, кое, по их мнению, позволило шляхтичу Закревскому одним ударом свалить бешеного русского медведя, что в одиночку сумел отбиться от десятка врагов. Пан Анджей, однако, подозревал, что его мастерство тут ни при чём: его противник просто ослаб от потери крови, а выросший не там, где надобно, сук довершил то, что Закревский наедине с самим собою никак не мог назвать честной победой.

Он понял это сразу и потому, наверное, не оставил раненого умирать на поле боя, а велел его перевязать и отправить повозкой в своё имение. С виду пленник был благородного происхождения, и то, как он владел саблей, как держался в седле и как отчаянно бился с многократно превосходящим противником, лишний раз подтверждало догадку пана Анджея. Правда, кошель пленника оказался пуст, но конь под ним был недурён, а булатная сабля и торчавший за поясом кинжал в простых ножнах произвели впечатление даже на знавшего толк в оружии Закревского.

Это и впрямь была удача, подвернувшаяся как раз тогда, когда пан Анджей начал ощущать настоятельную необходимость поправить свои денежные дела. За благородного пленника можно было получить весьма приличный выкуп – возможно, такой, что его хватило бы даже

на небольшое приданое дочери Юлии. Почему б, в самом деле, пленнику не оказаться сыном знатного боярина или князя, у коего злата куры не клюют, и который ничего не пожалеет ради возвращения из плена своего наследника?

Когда пан Анджей воротился домой из похода, пленник его уже оправился от ран и даже начал под присмотром дворовых выходить на крыльцо. Положение своё он понимал прекрасно и относился к плену философически: дескать, что ж попишешь, коли так вышло?

Впрочем, шансы пана Анджея на получение богатого выкупа пленник находил весьма сомнительными. Признав, что действительно приходится сыном такому богатому и влиятельному вельможе, как князь Андрей Басманов, и что пан Анджей Закревский по обычаю имеет полное право претендовать на выкуп, юноша добавил со вздохом, что князь вряд ли захочет выручить его из неволи. «Ты победил, тебе и награда, – сказал он пану Анджею. – Да только невелика тебе с меня прибыль, ясновельможный. Князь Басманов мне отец, но я-то ему, вишь, не сын!» – «Как это?» – слегка растерявшись и решив, что, видно, неправильно понял пленника (разговаривали-то они поначалу, в основном, на пальцах, жестами), переспросил пан Закревский. «Нешто ты не знаешь, откуда байстрюки берутся!» – с легкой горечью воскликнул пленник, и пан Анджей понимающе крякнул. Судьба опять сыграла с ним злую шутку, в награду за доблесть и смертельный риск подсунув вместо настоящего княжича полукровку – сына грешной, безвестной матери, не имеющего законного права ни на родовое имя, ни, тем паче, на долю в отцовском наследстве.

Увы, другого пленника у пана Анджея Закревского в запасе не было, и он решил попытаться удачи с тем, что имелся под рукой. Тут, на счастье, подвернулась оказия: всемилостивый король Речи Посполитой Сигизмунд отправлял посольство к царю и великому князю всея Руси Фёдору Иоанновичу. Через знакомых в сейме пану Анджею удалось добиться разрешения отправить с посольством своего гонца – однодверного шляхтича пана Тадеуша Малиновского, у коего за душой не было ничего, кроме немолодого коня, доброй пищали, отцовской сабли да шляхетской гордости, каковая не оставляла его даже в те минуты, когда он, с пищалю за спиной и саблей на боку, самолично пахал землю, используя в качестве тягла своего боевого скакуна. Когда такое случалось (а случалось такое регулярно, ибо человеку требуется пропитание, а гордость на хлеб не намажешь), было издалека заметно, что в хомуте и с сохой позади оный скакун чувствует себя куда привычнее, нежели под седлом. Однако же смельчак, дерзнувший прямо сказать об этом пану Тадеушу Малиновскому или как-то иначе задеть его гордость, рисковал прямо тут же, на месте, лишиться живота: академий пан Тадеуш не кончал и едва мог нацарапать пером на бумаге своё имя, но саблей при этом орудовал с завидными ловкостью и хладнокровием.

Хутор пана Тадеуша Малиновского располагался на родовых землях Закревских; пан Анджей не единожды ходил вместе с паном Тадеушем на войну, не раз и не два спасали они друг другу жизнь и в отношениях своих давным-давно переступили ту грань, что издревле разделяет вассала и сюзерена. На людях по-прежнему блюдя внешние приличия, они уж не первый десяток лет по-настоящему дружили, и лучшего посланника пану Анджею было не сыскать, хотя бы он, задавшись такою целью, обошёл весь белый свет. Но мудрые люди оттого и мудры, что не ищут того, чего искать не надобно, и никогда не пренебрегают тем, что находится прямо под рукой, ежели оно пригодно для затеянного дела. Пан Тадеуш же годился для дела как никто: ему можно было довериться, как себе, и он не растерялся бы, попав в трудную ситуацию. Словом, если бы пан Тадеуш Малиновский не справился с поручением, сие означало бы одно из двух: либо поручение было заведомо невыполнимо, либо гонцу уж очень сильно, прямо-таки фатально, не повезло.

Итак, подъехав к дому и бросив поводья подбежавшему конюху, пан Анджей Закревский легко, как молодой, взбежал по ступенькам увенчанного античным портиком с пузатыми

колоннами крыльца, покосился на ласточкино гнездо под кровлей портика, и мимо распахнувшего дверь босоногого лакея вступил в дом.

В доме оказалось неожиданно шумно. Со стороны столовой доносился громкий мужской голос, на все лады поносивший кого-то такими страшными словами, что, имея оные слова материальную силу, поносимому не хватило бы и десяти жизней, чтобы претерпеть все беды и напасти, коих желал ему поносящий. Манера выражаться и, в особенности, голос сразу же показали пану Анджею до боли знакомыми. В первую минуту он даже не удивился, решив, что весь этот сквернословный шум происходит исключительно внутри его головы и является продолжением его размышлений о пане Тадеуше Малиновском, коему и принадлежали многочисленные и громогласные «пся крэв» и «холера ясна», что всё ещё доносились со стороны столовой.

Потом что-то задребезжало, забренчало, зазвенело; из коридора выскочил и, едва поклонившись хозяину, с тихим тоскливым воем пробежал в сторону кухни повар. От повара валил пахнувший варёной капустой горячий пар; с волос у него капало, причёску, лицо и одежду сомнительно украшали разваренные капустные листья. Сколь ни стремительно промчался мимо повар, пан Анджей успел углядеть на капусте предательские чёрные пятна и унюхать неприятный душок гнили. Всё было ясно: прижимистый повар пытался попотчевать гостя бигусом, приготовленным из подгнившей капусты, был на этом пойман и наказан прямо на месте преступления. Верно говорят москвиты: поделом вору мука. Если б такое сомнительное угощение гостю поднёс сам хозяин, пан Тадеуш, может, и стерпел бы из уважения к старой дружбе. Но терпеть такое от холопа этот гордец, ясно, не станет даже за все сокровища мира...

И только теперь, мысленно разобравшись с поваром и бигусом, пан Анджей осознал, что всё это вовсе не плод его воображения. Голос пана Малиновского продолжал громыхать в столовой, да и облитый бигусом повар столь же мало смахивал на рождённую воображением химеру, сколь и его неаппетитное варево. То бишь, бигус из гнилой капусты в какой-то степени, конечно, был-таки сродни химерам – по крайности, он мог их рождать, особенно по ночам, будучи употреблённым на ужин, – но уж обвешанный капустой повар наверняка был созданием в высшей степени земным – настолько земным, что пан Анджей пробудился от своих мечтаний и, наконец, сообразил, что там, в столовой, сидит пан Тадеуш Малиновский собственной персоной – так сказать, во плоти.

Сие означало, что миссия пана Тадеуша благополучно завершилась – благополучно, по крайней мере, для самого пана Тадеуша, ибо покойники неспособны сквернословить и возмущаться качеством подаваемой на их стол еды.

Осторожно воспрянув духом, пан Анджей устремился в столовую. Помещение это, некогда донельзя роскошное – во всяком случае, по провинциальным меркам, – ныне основательно обветшало, как и всё иное хозяйство во владении шляхтича Закревского. Тёмные дубовые панели стен были источены жучками-древоточцами и напоминали некую деревянную разновидность швейцарского сыра, мебель трещала и скрипела, грозя рассыпаться прахом от неосторожного прикосновения, а драгоценные гобелены и портреты предков потемнели, закоптились и засалились так, что на них уже стало трудно отличить доблестных рыцарей от их боевых коней, а храбрых охотников – от оленей и фазанов, на коих они охотились. Покрытые пылью и непобедимой, всесокрушающей ржавчиной старинное оружие и доспехи сумрачно поблескивали на стенах; от побитых молью персидских ковров веяло сухой затхлостью угасающего величия, а из закопчёной пасти огромного, как в королевском замке, бесполезного камина тянуло застарелой печной гарью.

Посреди этого обветшалого великолепия располагался длинный дубовый стол, за коим одновременно могли отобедать человек тридцать. Стол этот был накрыт посеревшей от старости, но чистой полотняной скатертью; в дальнем его конце, ближе к хозяйскому месту, виднелся одинокий столовый прибор из массивного серебра, появление коего на столе означало,

что в доме дорогой гость. Мигом заметив и оценив это обстоятельство, пан Анджей мысленно отдал должное сметливости дочери, которая в отсутствие отца и брата брала на себя хлопотную роль хозяйки дома (пан Анджей уже много лет был вдов и, блюдя верность памяти покойной жены, а паче того, не имея средств на очередную женитьбу, так и не обзавёлся новой спутницей).

Войдя в столовую, пан Анджей застал дочь стоящей подле стола. В своём скромном белом платье на фоне тёмных дубовых панелей рыжеволосая пани Юлия напоминала венчальную свечу, а ветхая роскошь обстановки выгодно подчёркивала её молодость и красоту. Перед Юлией, преклонив колена и взяв её тонкую белую руку в свои загорелые, мало чем отличающиеся от мужичьих, красные лапищи, склонив обильно посеребрённую сединой голову, стоял пан Тадеуш Малиновский, голос которого пан Анджей слышал ещё в прихожей.

– Простите, ясновельможная пани, – приглушённо рокотал пан Тадеуш, – простите великодушно! Не пристало вашим нежным ушкам слушать такие слова...

– Это я должна просить прощения у пана, – мягко возразила Юлия. – Пан устал с дороги и проголодался, а я не проследила за тем, чтоб ему подали угощение, достойное столь дорогого гостя...

– Так пану и надо! – в свой черёд перебил её Малиновский. – Пан совсем одичал, раз позволяет себе лаяться на прислугу в чужом доме, да ещё и в присутствии хозяйки. Лучшего угощения пан не заслужил... За такую провинность пана на конюшне кормить надо, да не овсом, а гнилой соломой!

Пан Анджей прервал этот обмен любезностями, деликатно кашлянув в кулак. Малиновский оглянулся, живо вскочил с колен и поклонился ему в пояс. Приблизившись, пан Анджей обнял старого приятеля.

– Несказанно рад твоему возвращению, – признался он. – Вижу, повар не разделяет моей радости. Прости его, друг мой. Он ловчит, пытаюсь сберечь кусочек повкуснее для меня и моих детей. Хотя беречь, признаться, уже нечего. Юлия, – обратился он к дочери, – вели подать нам вина и еды. Да проследи, чтоб на сей раз всё было в порядке.

– Неужто дела настолько плохи? – спросил пан Тадеуш. Когда дочь хозяина вышла из комнаты, улыбка сбежала с его лица, и оно стало хмурым и усталым.

– Ну, не настолько, чтоб я не мог накормить старого друга, как полагается, – невесело усмехнулся Закревский. – Однако и хорошего мало. Виды на урожай не самые лучшие. Да и вряд ли один урожай, даже самый богатый, сумеет исправить то, что приходило в упадок десятилетиями... Не знаю, право, что тогда делать. Я ведь даже имение продать не могу – майорат.

Малиновский огорчённо крикнул, хорошо понимая, к чему клонит пан Анджей. Закревский усадил его за стол и сел напротив, с ожиданием и надеждой поглядывая на старого друга. Принесли вино и закуску; пока слуги суетились вокруг, накрывая на стол, пан Тадеуш попытался собраться с мыслями. Из этого ничего не вышло; да и что, право слово, можно было придумать в таком положении?! Прямой вопрос, который вот-вот должен был прозвучать, требовал столь же прямого ответа. Ответ же был неутешителен; за всё время пути из Москвы в родные места пан Тадеуш так и не сумел придумать, как подсластить горькую истину, и глупо было надеяться, что способ смягчить удар отыщется теперь, в самую последнюю минуту.

Наконец, предводительствуемые опасно косящимся на гостя поваром лакеи удалились, оставив шляхтичей одних. Юлия Закревская тоже не вернулась в столовую, понимая, по всей видимости, что отцу надобно переговорить с гостем с глазу на глаз. Уходя, она выглядела печальной и бледной. Простодушный пан Тадеуш Малиновский отнёс её настроение на счёт своего и впрямь не слишком пристойного поведения; право, не стоило ему так забористо брать повара, не оглядевшись прежде по сторонам. Пан Анджей, в отличие от него, подозревал,

что причина дочерней грусти иная; он догадывался, что это за причина, и оттого его нетерпение услышать привезённые гонцом новости многократно усиливалось.

Пан Тадеуш, однако, говорить не спешил. Осушив кубок, в который входила добрая бутылка вина, он с прямо-таки неприличной поспешностью до отказа набил рот едой и принялся жевать, кряхтя, причмокивая и всеми возможными способами показывая, как ему вкусно и как он истосковался по домашней пище. Пан Анджей терпеливо ждал, давая другу возможность утолить голод. Малиновский продолжал есть; ему казалось, что это недурной способ оттянуть неприятный для обоих разговор, однако он подозревал, что надолго его не хватит: каким бы голодным человек ни уселся за стол, рано или поздно он либо наестся до отвала, либо съест всё, до чего может дотянуться.

Через некоторое время пан Анджей заподозрил неладное, а когда Малиновский, целиком умяв жареного гуся, всё так же молча, да ещё и пряча при этом глаза, принялся за свиной окорок, ему стало окончательно ясно, что денег нет и не будет. Оставалось лишь выяснить причину неудачи; положив руку на сердце, причина сия пану Анджею была глубоко безразлична – от разговоров деньги всё равно не появятся, – однако расспросить пана Тадеуша надлежало хотя бы из вежливости.

– Говори, друже, – мягко произнес он, – не томи. Что сказал тебе князь Басманов? Можешь не хитрить, я и так уже всё понял.

Пан Тадеуш крякнул и с видимым облегчением оттолкнул от себя окорок, на который уже не мог глядеть. Вынув из-за пазухи слегка помятый бумажный свиток, перевязанный витым шнурком, на коем болталась подтаявшая восковая печать, он протянул грамоту Закревскому.

– Пся крэв, – проворчал пан Тадеуш. – Если б мог, я вызвал бы его на поединок и дал ему отведать моей сабли. Холера ясна! Не помочь в беде родному сыну!

– Он незаконнорожденный, – вздохнул пан Анджей, разворачивая свиток.

Грамота была составлена по-польски; польский, разумеется, был таким, каким его представлял себе толмач-москвит, коего удалось разыскать князю Басманову. Ничего утешительного или хотя бы нового для пана Анджея грамотка не содержала, если не считать пары ругательств, коих шляхтич Закревский ранее не слышал и потому решил запомнить, дабы при удобном случае ввернуть в приватном мужском разговоре.

Пока он читал, пан Тадеуш, заново обретая дар речи, без стеснения поносил русского князя, который не захотел прийти на выручку собственному, пусть себе и незаконнорожденному, сыну. Пану Анджею такое положение вещей тоже представлялось довольно странным. Добро бы ещё у князя не было денег! Но деньги у Басманова водились, и притом в таком количестве, что ему ничего не стоило выкупить из плена хоть целый полк своих соотечественников.

Если отбросить обидные намёки на принадлежность всей польской шляхты и, в первую голову, пана Анджея Закревского к собачьему роду-племени, а заодно и всё прочее сквернословие, смысл привезённой из далёкой Москвы грамотки сводился к следующему: да, в далёкой юности князь Андрей Басманов согрешил, однако грех свой давно искупил, пожаловав своему незаконнорожденному отпрыску в наследственное владение деревеньку под Нижним Новгородом, доброго коня, саблю и три сотни ефимков. Свой родительский долг князь, таким образом, считал исполненным и более ничего не желал слышать о недоросле, именуемом себя его сыном. Коротко говоря, сумел угодить в полон – сумей из него и выбраться.

В общем и целом выглядело всё это разумно, хотя на взгляд пана Анджея князь мог бы более тщательно выбирать выражения. Но выражения не меняли сути дела. Суть же была проста: платить выкуп за сына князь решительно отказался, и теперь Закревскому предстояло решить, как быть дальше.

– Холера ясна, – вслед за паном Тадеушем беспомощно выругался он. – И что я теперь должен с ним делать? Не могу же я держать его у себя в доме до скончания века! Ведь, помимо всего иного, это ещё и лишний рот! Не могу же я определить княжеского сына в конюхи!

– Почему? – удивился пан Тадеуш, который не видел в таком предположении ничего странного и неприемлемого, ибо сам был себе и конюхом, и дворником, и лакеем, и землепашцем.

– Честь не позволяет, – сообщил пан Анджей. – Пленный князь – всё равно князь.

– Граф Вислоцкий, к примеру, просто продал бы его каким-нибудь туркам, – наливая себе вина, задумчиво проговорил пан Тадеуш. – Им безразлично, князь он или холоп. Разница только в цене, которую можно получить за него на невольничьем рынке где-нибудь в Стамбуле.

– Это не самая удачная из твоих шуток, пан Тадеуш, – с грустью произнёс Закревский.

– Наверное, оттого, что мне не слишком весело, – предположил Малиновский. – Не знаю. Может быть, князь передумает. Хотя по его виду мне показалось, что он не из тех, кто меняет свои решения.

– На то он и князь, – ещё печальнее сказал пан Анджей.

– Будучи князем, вовсе не обязательно быть глупцом, – возразил Малиновский. – Сказано: один Бог без греха. Даже князья могут ошибаться, говоря в горячке то, о чём после приходится сожалеть. Не исправляя допущенных ошибок, мы лишь усугубляем их последствия...

Не договорив, он жадно припал к кубку. Пан Анджей молчал, разглядывая старого друга с некоторым изумлением и мысленно пытаюсь сопоставить его простецкое лицо и огрубелые, привычные к тяжкой мужичьей работе руки с философическими речами, коих от пана Тадеуша никто отродясь не слыхивал.

– Это, – продолжал пан Тадеуш, утолив жажду, – объяснил мне один старик-отшельник. У него странное прозвище – Леший... А впрочем, и не странное вовсе. На лешего он и похож. Ха! Мне только сейчас подумалось: а может, это и был самый настоящий леший? – Он ухмыльнулся; язык у него уже слегка заплетался, и вообще было видно, что пан Тадеуш основательно захмелел от обильной пищи, вина и накопившейся усталости. – Я ночевал у него на обратном пути, мы разговорились, и слова его показались мне достойными внимания.

– Ага, – с понимающим видом кивнул слегка успокоенный этим сообщением Закревский и тоже налил себе вина. – Что же прикажешь делать? Ждать, пока твой Леший встретится с князем Басмановым и вразумит его?

– Боюсь, ждать придётся долго, – вздохнул Малиновский. – Старик безвылазно сидит в лесной глухомани, и я не заметил, чтобы его сильно тянуло к людям. Особенно к князьям... Но либо так, либо тебе самому придётся признать, что ты допустил большую ошибку, взяв в плен этого москвитя.

– Ошибку! – воскликнул пан Анджей, с такой силой стукнув кубком о стол, что вино выплеснулось через край и растеклось по скатерти похожим на кровь пятном. – Не дать достойному противнику умереть от ран – ошибка ли это, пан Тадеуш? Но даже если и так, что с того? Что изменится, даже если я во время воскресной проповеди столкну ксендза с амвона, вскарабкаюсь туда сам и во всеуслышание объявлю, что ошибся? Сомневаюсь, что в этом случае Господь смилостивится надо мной и заплатит выкуп вместо князя!

– Я тоже в этом сомневаюсь, – рассудительно согласился пан Тадеуш. – Особенно если ты действительно спихнёшь ксендза с амвона.

– Вот видишь, – убитым тоном заключил пан Анджей.

– Да, – протянул Малиновский, – положение трудное. Продавать его туркам ты не хочешь, определить в конюхи не можешь... Остаётся одно – ждать и надеяться, что Господь вразумит князя Басманова и тот переменит своё несправедливое решение.

– Боюсь, что ждать я тоже не могу, – нехотя признался пан Анджей. – И дело не только в деньгах. Видишь ли, Юлия... Я не хотел об этом говорить, но мне нужен твой совет, Тадеуш. Мне кажется, княжич ей нравится.

– А вот это и впрямь скверно, – с трудом переварив полученное сообщение, почесал в затылке Малиновский. – Ай-яй-яй... Как же так? Пленник, да ещё схизмат...

– Сердцу не прикажешь, – вздохнул пан Анджей. – И кто-то упорно распускает слухи, будто бы Юлия и этот москвит... ну, ты меня понимаешь.

– Я даже догадываюсь, кто этим занимается. – Пудовый кулак пана Тадеуша с грохотом опустился на столешницу, заставив подпрыгнуть посуду. – Клянусь всеми святыми, здесь не обошлось без Быковского! Только этот прихвостень Вислоцкого с его грязным языком мог измыслить такую напраслину! погоди, дай только отдохнуть с дороги, и я вобью его слова ему в глотку вот этим кулаком!

Пан Анджей с кислым выражением лица оглядел внушительный кулак приятеля, коим, судя по виду, можно было свалить с ног бешеного слона.

– Быковский не станет драться на кулаках, – остудил он пана Тадеуша. – Для начала он оскорбит тебя, сказав, что кулачный бой – мужичья забава, и что сам ты – мужик. Тогда тебе придётся либо проглотить оскорбление, либо драться с ним на саблях. А что такое сабля в руках Быковского, ты знаешь не хуже меня.

– А честь? – грозно насупился Малиновский.

– О чести можно говорить, когда ты сам услышишь, как Быковский распускает гнусные сплетни о моей семье. Тогда я первый обнажу клинок, и будь что будет. Пока же это лишь твоя догадка. Затеяв ссору без доказательств, ты сам будешь выглядеть клеветником, а когда Быковский тебя убьет, ты не сможешь даже оправдаться.

– Перед Господом мне оправдываться не придётся, – возразил пан Тадеуш. – Он всё видит...

– И он один без греха, – мягко напомнил пан Анджей. – А вдруг ты ошибаешься? Больше всего я боюсь, – признался он, – что эти сплетни дойдут до Станислава.

– О, да, – начал пан Тадеуш и осёкся, с удивлением и недовольством воззрившись на лакея, который без стука ввалился в столовую и остановился на пороге, тяжело дыша и дико тараща глаза.

– Беда, ясновельможный пан! – не вдруг отыскав взглядом сидевшего на непривычном месте, сбоку от стола, а не во главе его, пана Анджея, выпалил он. – Молодой господин обезумел, хочет убить москвитита!

Шляхтичи разом вскочили, с грохотом опрокинув тяжелые стулья.

– Где?! – спросил пан Анджей.

– На заднем дворе, у конюшни, – отвечал холоп.

Оттолкнув его, пан Закревский опрометью выбежал из столовой.

– Видно, не зря ты боялся, – пробормотал пан Тадеуш Малиновский, хватая свою пыльную шапку и устремляясь за хозяином.

Глава 2

Станиславу Закревскому недавно исполнилось семнадцать, но выглядел он старше своих лет, как это часто случается с юношами, в силу обстоятельств вынужденными до срока превратиться в мужчин. Мать Станислава умерла, когда ему едва сровнялось десять; отец выбивался из сил, стараясь свести концы с концами и хоть как-то обеспечить будущее детей, и Станислав старался помочь ему, как умел. Поначалу, конечно, умел он немного, и помощь его порою приносила больше вреда, чем пользы. Однако с годами он набрался не только ума, но и опыта ведения хозяйства, так что, отлучаясь по делам (к примеру, в очередной военный поход), пан Анджей уже мог с легким сердцем оставить дом на попечение сына.

Молодой Закревский был не очень высок и не слишком широк в плечах, но прекрасно, гармонично сложен и, в отличие от отца, внешность коего изрядно портил предлинный, сильно утолщающийся книзу нос, нависавший над тонкогубым, с опущенными углами ртом, хорош собою настолько, что порой, выпив перед сном лишнюю чарку, пану Анджею при виде его случалось пустить слезу – уж очень сильно юный Станислав напоминал покойницу-мать.

В то утро Станислав отправился в город, намереваясь побывать на рынке и прицениться к кое-какому хозяйственному инвентарю. Нужды особенной в том не было, да и денег на упомянутый инвентарь не было тоже, однако при отсутствии иных, более важных и насущных дел Станиславу не хотелось упускать случай развеяться. Помимо рядов, где торговали конской упряжью и скобяным товаром, он собирался заглянуть в оружейную лавку, где ему в прошлый раз приглянулся знатный дамасский клинок. Купить оный клинок Станислав Закревский был не в состоянии, ибо стоил тот недёшево, но за погляд, как известно, денег не берут. Вот он и намеревался поглядеть – и на дамасский клинок, и на богатые сёдла, и на пистолы, а прежде всего (в чём не признался бы даже под пыткой) на окна дома, в коем проживала неземной красоты пани, имени которой Станислав не знал, но в которую был влюблён со всей беззаветной горячностью семнадцатилетнего юноши.

Начал он, естественно, с самого приятного, но начинание его, увы, ни к чему не привело: сколько он ни прохаживался по улице вдоль дома своей возлюбленной, та так и не выехала из ворот и даже не выглянула в окошко. Станиславу, таким образом, ничего не оставалось, как действовать далее по программе, то бишь отправиться сначала на рынок, а после – в оружейную лавку.

В этот день разочарования подстерегали Станислава Закревского буквально на каждом шагу. Цены, коими он интересовался, ныне оказались непомерно высоки, так что, даже будь у него деньги, он не стал бы так дорого платить. В лавке же выяснилось, что столь понравившийся Станиславу кинжал дамасской стали намедни купил пан Вацлав Быковский – дуэлянт, игрок, повеса и весьма неприятный, по мнению Станислава (и не его одного), тип, что вёл разгульный образ жизни, не имея видимого источника доходов. Поговаривали, что деньгами его щедро снабжают женщины; слабо разбираясь в такого рода делах, Станислав предполагал (незаметно для себя повторяя при этом мнение, однажды неосторожно высказанное отцом), что кутежи Вацлава Быковского финансирует граф Вислоцкий, периодически использующий Быковского для выполнения различного рода деликатных поручений.

Как бы то ни было, кинжала в лавке не оказалось, и было очень неприятно узнать, что кинжал этот ныне принадлежит не кому-нибудь, а Быковскому. Вдобавок, оружейник весьма неллицеприятно высказался по поводу ротозеев, которые день-деньской топчутся в лавке, не имея за душою ни гроша. Надменно пообещав оборвать наглецу уши, Станислав гордо покинул лавку и, поскольку время едва перевалило за полдень, решил ещё раз попытать счастья в начальном пункте своего маршрута – под окнами белокурой и голубоглазой пани, образ которой занимал все его помыслы в течение целых полутора месяцев.

Дом, в котором обитал предмет его воздыханий, был каменный, в два жилья, то бишь двухэтажный; въезд во двор закрыт был глухими дубовыми воротами. Правее ворот в каменной стене имела калитка, тоже дубовая, с привинченным вместо ручки железным кольцом. Кольцо маслянисто поблескивало, отполированное прикосновениями ладоней. Станиславу подумалось, что этого холодного железа наверняка касалась нежная ручка его возлюбленной пани, и ему немедля захотелось пылко прижаться к кольцу губами.

Пока он предавался пустым мечтаниям, созерцая столь прозаический предмет, как дверная ручка, на втором этаже скрипнуло, открываясь, окно. Подняв глаза, Станислав Закревский обмер: там, в окне, стояла столь обожаемая им дама и, глядя прямо на него, благосклонно улыбалась коралловым пухлым ртом.

Лет ей было около тридцати; округлое лицо покрывал толстый слой пудры и румян, под подбородком уже начинала просматриваться предательская дряблая складочка, а ангельские голубые глаза были пусты и лишены мысли, как два фарфоровых шарика. Но ослеплённый не столько красотой возлюбленной, сколько дивным образом, созданным его пылким воображением, Станислав Закревский этого не замечал. Тонкая рука в белой кружевной перчатке слегка приподнялась, маня его к себе; не чуя под собою ног, Станислав шагнул вперёд.

В это самое время калитка вдруг распахнулась с громким стуком, и оттуда с хохотом вывалилась компания богато одетых молодых шляхтичей во главе с Вацлавом Быковским. Несмотря на ранний полуденный час, все они нетвёрдо держались на ногах, и вином от них пахло на всю улицу. Быковский шёл спиной вперёд и, размахивая руками, пытался заставить собутыльников петь хором. Станислав, в свою очередь, почти не заметил появления шумной компании, полностью поглощённый созерцанием дивного видения, что всё ещё маячило в окне второго этажа. Столкновение было неизбежно, и оно произошло: Вацлав Быковский, продолжая пятиться, толкнул зазевавшегося Станислава Закревского спиной, при этом больно наступив ему на ногу.

– Ба! – с пьяным весельем воскликнул Быковский, обернувшись и увидев, на кого наткнулся. – Какая встреча! Сам пан Станислав Закревский, собственной персоной! То-то я не пойму, откуда в этом райском уголке несёт навозом!

– Полагаю, сей аромат исходит из вашего рта, ясновельможный пан Вацлав, – вежливо ответил Станислав, отчетливо понимая, что погиб. В течение всего последнего года он усердно тренировался во владении саблей и достиг недурных результатов, тем более что учитель ему попался хороший. Но Быковский был признанным мастером клинка, а произнесённые Станиславом слова делали поединок практически неизбежным.

Собутыльники Быковского подлили масла в огонь, встретив этот обмен репликами громогласным хохотом, улюлюканьем и даже свистом. Глаза Вацлава Быковского недобро сузились, на скулах заиграли желваки, чёрные, как смоль, усы угрожающе встопорщились, а ладонь легла на эфес сабли.

– Не ссорьтесь, Панове! – хрустальным колокольчиком прозвенел в вышине нежный голос хозяйки дома. – Пан Вацлав, как не стыдно затевать свару прямо под моим окном!

– Но, пани Анна, как же иначе? – обернувшись к окну, картинно развел руками Быковский. – Этот пан меня оскорбил!

– Вы первый начали, – напомнила ему пани Анна. – Это вы его толкнули, а вместо того, чтоб просить у пана прощения, стали говорить гадости. Гадости, пан Вацлав! Я всё слышала, не отрицайте! Поделом вам! Немедля извинитесь!

– Только ради ваших прекрасных глаз, – согласился Быковский и повернулся к Станиславу. – Тебе это с рук не сойдёт, щенок, – пообещал он сквозь зубы и громко, на всю улицу, добавил: – Прошу у пана прощения. Кажется, я выпил лишнего и был недостаточно учтив.

– Bravo! – захлопала в ладоши пани Анна. – Мир восстановлен! Да здравствует мир!

– Вам не придётся долго меня искать, пан Вацлав. Я всегда к вашим услугам, – едва шевеля онемевшими от злости губами, негромко произнёс Станислав и, повысив голос, как это сделал до него Быковский, сказал: – Я с радостью прощаю пана и, в свой черед, прошу прощения за произнесённые мною грубые слова.

– Ах, как мило! – восторгалась пани Анна. – Но постойте! Вы сказали – Закревский?

– Станислав Закревский, – снимая шапку и низко кланяясь, представился Станислав. Ему казалось, что он спит и видит дивный сон. Вот уж, действительно, не было бы счастья, да несчастье помогло! Разве мог он ещё полчаса назад мечтать быть представленным своей возлюбленной? – Целую ноги ясновельможной пани!

– Ах, какой галантный кавалер! – прозвенела из окна пани Анна. – Помяните мои слова, Панове: со временем из него получится настоящий сердцеед!

– Не успеет, – едва слышно пробормотал Быковский. – Сердцеда из него не выйдет, зато скелет получится отменный.

– Это мы ещё посмотрим, – окрылённый нежданно свалившимся на него счастьем и оттого потерявший осторожность, тихо огрызнулся Станислав.

– Закревский... – задумчиво, словно пытаясь что-то припомнить, повторила пани Анна. – Это не тот Закревский, у сестры которого амурные дела с пленным москвитом?

Станислав вздрогнул, как от пощечины. Удар был настолько неожиданным, несправедливым и болезненным, что на какое-то время он частично утратил связь с реальностью.

Как сквозь вату, до него донёсся голос Быковского:

– К сожалению, об его сестре я ничего не знаю, кроме того, что она у него имеется. Да и москвит действительно живёт в доме Закревских уже целый год. Я, признаться, всё ломал голову: с чего бы это? Благодарю вас, пани Анна, вы открыли мне глаза!

– Ах, как мило! – продолжал звенеть над улицей и, казалось, над всем миром вдруг сделавшийся ненавистным голосок пани Анны. – Говорят, эти москвиты – настоящие медведи! Ах, как это любопытно!

– Полно, пани Анна, не то я приревную, – заливаясь глупым смехом, пригрозил Быковский.

– Вам это будет только полезно, ясновельможный пан, – с улыбкой отвечала пани Анна.

– Я этого не переживу! – дурачась, кричал Быковский.

До звона в ушах стиснув зубы, Станислав шагнул вперёд. Быковский вдруг, не глядя, выбросил назад руку и сильно толкнул его в грудь открытой ладонью. Кто-то из его собутыльников, зайдя со спины, подставил ножку, и Станислав позорно и очень обидно с маху уселся в пыль. Это событие сопровождал громовой хохот развесёлой компании, в который хрустальным колокольчиком вплетался смех пани Анны. Затем окно стукнуло, закрывшись; занавеска опустилась, и раньше, чем Станислав успел подняться на ноги, Быковский уже стоял над ним, картинно положив ладонь на рукоять сабли.

– Чего ты ищешь, щенок? – презрительно осведомился он. – Смерти? Не думаю, что ты всерьёз желаешь умереть, ибо это не свойственно твоему возрасту. Хочешь зарубить меня? Но, помилуй, за что? Я толкнул тебя и попросил прощения, которое, к слову, ты мне милостиво даровал. Чего ж тебе ещё? О твоей сестре заговорил не я. Неужто ты станешь драться на дуэли с женщиной? Ежели хочешь совета, вот он: не хочешь пересудов – устрани их причину. А кидаться на меня с кулаками, а тем более с саблей – занятие вредное для здоровья. Подумай над моими словами, мальчик. Ты нужнее своим родным живой, чем мне – мертвый. Хотя при случае, поверь, я с удовольствием насажу тебя на вертел.

Похлопав ладонью по эфесу сабли и оскорбительно (так, по крайности, показалось Станиславу) улыбнувшись, пан Вацлав Быковский махнул рукой своим собутыльникам и в мгновение ока скрылся за углом. Нестройный хор пропитых голосов затянул развесёлую песню; по мере удаления компании она становилась всё тише, пока не стихла совершенно.

Проходивший мимо мещанин помог Станиславу подняться и почистить одежду.

– Негоже молодому человеку шляхетского звания быть под этими окнами, – сказал он, подавая Станиславу его шапку. – Женщина, которая здесь живёт – скверная женщина.

– Что ты сказал?! – по инерции вспыхнул Станислав.

– Я говорю пану, что эта женщина торгует собой, – спокойно ответил мещанин, из осторожности отступая на шаг. Он был на полголовы выше Станислава Закревского и гораздо шире его в плечах, а на загорелом усатом лице не было и тени испуга, каковой, по идее, полагалось бы испытывать простолюдину при виде того, как гневается молодой шляхтич. – Я говорю, что пан не похож на человека, который привык общаться с непотребными женщинами. И я говорю, что пану не за что на меня сердиться, ибо я только хотел ему помочь.

– Оставь свою помощь для того, кто в ней нуждается, – проворчал Станислав.

Мещанин пожал широкими плечами, неодобрительно покосился на окна пани Анны и пошёл своей дорогой. Станислав проводил его взглядом, гадая, правильно ли поступил, не зарубив на месте наглеца, который посмел чернить светлый образ его возлюбленной и подавать советы, коих никто не просил.

Однако думал он об этом как-то вяло, словно по инерции. Сильные переживания, превращая глупцов в полных безумцев, умных людей делают мудрее. Станислав Закревский глупцом не был; всё ещё ослеплённый обидой и яростью, он уже не столько понимал, сколько чувствовал, что мещанин говорил правду – ну, с какой стати ему было лгать незнакомому юноше? Да и слова, сказанные пани Анной по поводу сестры Станислава, целиком подтверждали правоту прохожего: пани Анна действительно была скверной женщиной, раз позволила себе произнести такое. О пани Анне следовало забыть, и как можно скорее.

Сделать это оказалось неожиданно легко. Юношеская влюбленность вспыхивает, подобно сухому труту, но быстро сгорает без дополнительного топлива. В костёр же, что пылал в груди Станислава Закревского, вместо масла плеснули студёной воды, и от пламенной любви в единый миг остались лишь мокрые, чёрные, курящиеся горьким паром головешки. Сотканный из романтических мечтаний образ прекрасной дамы сердца стремительно отодвинулся куда-то вдаль, где потускнел и рассеялся без следа, как утренний туман; божественная пани Анна сделалась для Станислава просто чужой, незнакомой, немолодой женщиной, водившей близкое знакомство с Вацлавом Быковским и уже только по этой причине недостойной того, чтоб о ней думать.

А вот забыть слова, сказанные ею о Юлии, было труднее. Если бы нечто подобное дерзнул произнести мужчина – тот же Быковский, к примеру, – кровавая дуэль на саблях была бы неизбежна. Возможно, Станислав погиб бы, защищая честь сестры, но что с того? Однако оскорбительные слова были сказаны женщиной, и Станислав, увы, не видел способа ей отомстить. В его распоряжении не было иного оружия против неё, кроме презрения, коего она, как теперь ясно понимал Станислав, только и заслуживала.

Понемногу успокаиваясь, он неторопливо шагал вниз по улице в направлении рыночной площади и постоянного двора, где оставил свою лошадь. По мере того как в душе утихала вызванная неприятным происшествием буря чувств, мысли Станислава Закревского переставали стремительно перескакивать с предмета на предмет и постепенно упорядочились. Теперь он размышлял о том, стоит ли упоминать о недавнем инциденте в разговоре с родными. Ему не хотелось, чтобы грязная сплетня коснулась ушей отца и сестры, однако и оставить всё, как есть, не представлялось возможным. Он и сам не раз замечал взгляды, исподтишка бросаемые Юлией на пленного русского княжича, однако не видел в том ничего опасного и тем паче зазорного. Княжич и впрямь был хорош, с какой стороны на него ни погляди: и рода знатного, и собою гош, и сердцем добр, и главою ясен. Он и Станиславу был люб – более всего потому, что держался с ним не как с отроком, а как с равным себе по возрасту и положению мужем, и, как мужа, всерьёз учил его рубиться на саблях, в коем деле, по словам полонившего его

пана Анджея, был истинным мастером. Что же до отношения к нему Юлии, то из него, по мнению Станислава, не могло проистечь никаких последствий: заплатит князь Басманов за сына выкуп, княжич уедет, и тем всё и кончится – Юлия, быть может, повздыхает с недельку, да и успокоится.

Но ныне дело приняло иной, весьма нежелательный оборот. Сколь ни хорош был княжич Басманов, именно его пребывание в доме Закревских послужило поводом для рождения сплетни. Следовательно...

Станислав замер, как громом поражённый. Матка боска! Ведь если сплетню пересказывает такая женщина, как пани Анна, она, верней всего, известна всему городу, всей округе! Как же он раньше о том не подумал? Как сразу не понял, что имел в виду Быковский, говоря, что, ежели ему не по душе пересуды, надобно первым делом устранить их причину?

Быковский – негодяй, но его слова содержали изрядную долю горькой правды. Карать сплетников по отдельности столь же бесполезно, сколь и необходимо; каждого шляхтича в округе не вызовешь на поединок, и отсечь каждый язык, что пересказывает мерзкие слухи, не получится. Бороться со сплетней – то же, что воевать с крапивой: пока из земли не вырван крепкий, похожий на спутанное мочало корень, сплетня, как и крапива, будет жить, давая побеги, обрастая всё новыми немислимыми подробностями, и, как крапива, жалить тебя со всех сторон.

С этим нужно было немедленно что-то делать, и Станислав точно знал, что именно. Когда задета честь, поступать надлежит единственным образом – все остальные пути неприемлемы, ибо ведут к бесчестью.

Вне себя от ярости и горя, Станислав Закревский опрометью бросился к постоялому двору, где мирно жевала овёс его ни о чём не подозревающая, счастливая в своём блаженном неведении немолодая кобыла.

Выбежав на задний двор, пан Анджей Закревский увидел картину, которая за последний год стала привычной, ибо наблюдалась едва не каждый день: его сын Станислав бился на саблях с пленным русским княжичем. Кунтуш его, шапка и пояс лежали в траве у стены овина; на юном шляхтиче были только полотняная рубаха с кружевным воротником, серые суконные панталоны и высокие сапоги. Кривая сабля в его руке блистала на солнце, описывая сверкающие кривые и мудрёные, похожие на вспышки молний, зигзаги.

Княжич Пётр Басманов, невзирая на проведённый в польском плену долгий год, был одет и острижен на русский манер. На нем была длинная, с вышивкой по вороту и на груди, подпоясанная рубаха, из-под коей виднелись просторные синие шаровары, заправленные в мягкие сапоги. Открытое широкоскулое лицо обрамляла короткая русая борода, уже успевшая основательно выгореть на солнце. Чуть прищуренные серые глаза внимательно следили за каждым движением Станислава, а сжимавшая саблю рука с кажущейся небрежностью отражала сыплющиеся со всех сторон яростные удары. Время от времени, заметив появившуюся в защите противника брешь, москвит делал короткий выпад; сабля замирала на краткий миг, коего было достаточно, дабы уразуметь, куда пришёлся бы удар, дерись княжич всерьёз, и сейчас же отскакивала назад, чтобы вернуться к своему сверкающему, лязгающему, звонкому и смертельно опасному танцу.

Словом, выглядело всё так же, как и всегда, когда пленный княжич и Станислав удалялись на задний двор для тренировок в воинском искусстве, кои, как не единожды замечал пан Анджей, давно стали для обоих излюбленным занятием. Настораживали лишь мелкие отличия, наподобие брошенной на землю одежды Станислава, испуганных лиц стоявшей вокруг челяди, а паче всего, той ярости, с коей Станислав сегодня насккивал на княжича. Пану Анджею хватило одного взгляда на его искажённое, покрытое красными пятнами лицо, чтобы понять: случилась беда. Вернее всего, сплетни о Юлии и русском пленнике дошли-таки до его слуха, и Станислав решил положить им конец единственным способом, который был ему ведом.

По лицу Петра Басманова, как обычно, было трудно что-либо прочесть. Княжич отбивал свирепые удары Станислава с той же небрежной ловкостью, что и всегда, но в его движениях уже сквозила хорошо заметная опытному глазу пана Анджея собранность бойца, осознавшего, что шутки кончились. Казалось, москвит уже начал понимать, что никакой иной исход, oprичь смерти одного из противников, Станислава не удовлетворит. Пан Анджей закусил губу: трагедия могла случиться в любое мгновение, и предотвратить её мог только пленник, Пётр Басманов. Надеясь на его мастерство и ровный, незлобивый нрав, пан Анджей в то же время хорошо понимал, в каком трудном, почти безвыходном положении оказался княжич: Станислав благодаря его урокам тоже недурно владел саблей, и остановить его ныне можно было, пожалуй, только убив или покалечив.

Чужая душа – потёмки. Пан Анджей знал своего пленника всего год, а это маловато для того, чтоб хорошо изучить человека. Как уже упоминалось, в повседневной жизни Петра Андреева сына Басманова отличал ровный, незлобивый нрав, на который только и оставалось теперь надеяться. Но надежда, увы, была слабая, ибо схватка не на жизнь, а на смерть – не дружеские посиделки за чаркой вина и не обмен мнениями по вопросам ведения домашнего хозяйства. Закревский видел своего пленника в бою и понимал, что в любую минуту тот может разгорячиться, войти в боевой азарт, забыть об осторожности, и тогда мгновения жизни Станислава будут сочтены.

Все эти мысли вихрем пронеслись в голове пана Анджея за одно краткое мгновение. В следующий миг он увидел, что Станислав забыл о защите, открывшись для удара сверху. Удар не заставил себя ждать; сабля москвита описала свистящую дугу и, как обычно, замерла в полудойме от незащищенной шеи юноши. Воспользовавшись этим промедлением, коего, скорее всего, ожидал заранее и за которое, похоже, решил примерно наказать своего чересчур великодушного противника, Станислав сделал резкий нырок, попытавшись воткнуть острие сабли в живот москвита. Княжич Басманов едва успел отбить этот удар, коему не хватило лишь малости, дабы оказаться смертельным. Серые глаза пленника сузились ещё больше, на скулах вздулись и опали желваки, и он с такой силой ударил своей саблей по клинку Станислава, что юноша невольно повернулся вокруг себя, подставив противнику спину. Отступив на шаг – что называется, от греха подальше, – москвит яростно перекрестил саблей воздух перед собой, ясно давая понять, что было бы с потерявшим голову сыном пана Анджея, если б он, княжич, бился с ним всерьёз.

В самой нижней точке последнего взмаха княжич Пётр вдруг разжал ладонь, и его сабля, упав на землю, скользнула далеко в сторону в облачке поднятой ею пыли. Пан Анджей ахнул, увидев то, что можно было расценить только как попытку самоубийства – именно так, и никак иначе, ибо лицо Станислава, когда он, восстановив равновесие, вновь повернулся к противнику, не выражало ничего, кроме слепой жажды крови. Едва ли он заметил, что атакует безоружного; пан Анджей не успел ни по-настоящему восхититься благородством русского княжича, который предпочел смерть бесчестному убийству обезумевшего от горя и стыда юноши, ни посетовать на горячность и безрассудство сына, кои в настоящем бою, несомненно, давно стали бы причиной его гибели. Станислав нанёс стремительный разящий удар; княжич с неожиданной при его довольно крупном, истинно богатырском телосложении кошачьей грацией нырнул под блистающий клинок, увернулся, а когда снова выпрямился, в руках у него, будто по волшебству, появилась деревянная лопата с длинной ручкой, какой крестьяне на току ворочают зерно.

Станислав снова взмахнул саблей; москвит отбил удар лопатой. Сталь с отчётливым тупым стуком встретилась с отполированным, потемневшим от долгой службы деревом, оставив на нём глубокую белую зарубку. В следующее мгновение Басманов, отбросив, наконец, деликатность, нанёс Станиславу мощный двойной удар: широким концом лопаты по уху, а после – черенком в живот, прямо под дых.

Выронив саблю, Станислав Закревский сложился пополам и схватился обеими руками за живот. Колени его подогнулись, но Басманов уже был рядом и, подхватив падающего юношу на руки, как ребёнка, бережно передал его наконец-то рискнувшей приблизиться дворне.

– Ништо, оклемается, – сказал он по-русски и повернулся к пану Анджею. – Прости, ясновельможный, пришлось сынка твоего помять маленько. Небось, до свадьбы заживет. Да там и заживать-то нечему. Полежит с полчаса и опять козликотом запрыгает... Вишь, по-хорошему не вышло...

– Я всё видел, – склонив голову, ответил пан Анджей, – и я благодарен вам за снисхождение, которое вы явили к моему сыну.

– Да какое снисхождение! – легкомысленно махнул рукой Пётр Басманов. – Нешто убить его надобно было? Так, вроде, не за что, вынош добрый, люб мне, как брат. Не пойму только, что это на него нашло. Налетел, яко коршун на перепёлку, глазищами сверкает. «Желаю с тобой на саблях биться!» – кричит. Ну, а мне нешто жалко? Я-то думал, то, как всегда, для потехи да наущения, а оно вон как обернулось... И какая муха его ныне укусила?

– Да ты и вправду ль не понимаешь, в чём дело? – спросил вместо слегка растерявшегося перед лицом такого простодушного пана Анджея подошедший сзади Тадеуш Малиновский.

– А я отродясь словечка кривды не вымолвил, – со спокойной гордостью отвечал княжич. – Посему, коли сказал, что не понял, так, стало быть, и впрямь не понял. Здравствуй, пан Тадеуш. Вижу, вернулся. Хорошо ль ездил?

– Бывало и похуже, – уклончиво ответил пан Тадеуш. – Отца твоего видел, говорил с ним.

– Здоров ли батюшка?

– Здоров, – сказал Малиновский. – Поклон тебе передаёт.

Княжич усмехнулся в русую бородку.

– Ай, пан Тадеуш, негоже в твоих-то годах душой по мелочам кривить! Нешто я князя Андрей Иваныча не знаю? Да у него, поди, хребет надвое переломится, ежели он надумает мне поклониться!

Пан Тадеуш крякнул и сгреб в горсть длинные вислые усы, как делал всегда, когда бывал смущён.

– Выкуп-то, поди, не привёз? – с мягкой насмешкой, будто речь шла о чём-то заведомо невыполнимом, спросил княжич.

Малиновский снова только крякнул в ответ, весьма кстати припомнив, что москвит заранее предупреждал и его, и пана Анджея о полной безнадежности их затеи с выкупом.

– Может, сынок-то твой оттого и взбеленился? – обратился княжич к пану Анджею. – Сие на него, конечно, не похоже, да кто ж его ведаёт? Чужая душа – потёмки...

– Да нет, – вздохнул пан Анджей, приняв окончательное решение, – причина в ином. – Он огляделся по сторонам и замахал руками на челядинцев, что, тесной кучкой стоя на некотором удалении, жадно прислушивались к разговору. – Пошли вон! Вам что, заняться нечем? Раньше надо было глядеть, а теперь нечего глаза таращить! Я ещё разберусь, кто из вас, бездельников, допустил такое безобразие!

Угроза была бессмысленная, но она возымела желаемое действие: дворовые, пряча глаза, торопливо разошлись по своим делам.

– Причина в ином, – повторил пан Анджей, когда подле них не осталось лишних ушей. – Станислав был в городе, и там, как я понимаю, до него дошли некоторые слухи...

Он замолчал, с внезапной горечью осознав, сколь широко разошлась дурная молва, раз уж эта мерзкая выдумка отыскала Станислава в городе.

– Что-то я ныне непонятлив, – сказал княжич, когда пауза затянулась. – Давеча сына твоего не понял, теперь вот тебя... Брось загадки загадывать, ясновельможный! Говори прямо: что стряслось, в чём моя вина? Я пред тобою чист, однако вижу: что-то не так.

– Причина в ином, – снова повторил пан Анджей Закревский и беспомощно оглянулся на друга, как бы ища у него помощи в трудном деле. Но пан Тадеуш только крикнул и отвернулся, смущённо пропуская через красный костлявый кулак длинные, основательно тронутые седую усы. – Мой сын никогда не напал бы на тебя из-за такой низменной материи, как деньги.

– Материя, конечно, низменная, однако без неё и зубы на полку положить недолго, – со свойственной ему рассудительностью возразил княжич Басманов. – Да и не объяснил ты мне ничего, ясновельможный. Ни о чём таком возвышенном мы с твоим сыном не спорили. Да мы и двух слов-то сказать не успели: налетел вихрем и ну саблей махать!

– Мой сын, – продолжал пан Анджей, благоразумно пропустив эти не содержавшие ничего для него нового слова мимо ушей, – мог до такой степени потерять голову лишь в одном случае: если была задета его честь.

Пётр Басманов беспомощно развёл руками.

– Ну, тогда я и вовсе в толк не возьму, какая муха его укусила. При чём тут его честь? Может, я оттого ничего не понимаю, что только наполовину князь? Нижняя половина, стало быть, княжеская, а верхняя, где голова, – мужичья, вот и не поймёт ничего...

Пан Тадеуш Малиновский, которого всё это напрямую не касалось и который, к тому же, ещё не окончательно отрезвел после выпитого за обедом вина, хмыкнул в усы, невольно отдавая должное шутке, но тут же снова надулся, напустил на себя задумчивый и хмурый вид, ибо дело было, увы, не шуточное.

– Дело сие далеко не потешное, – подтверждая правильность его поведения, вздохнул пан Анджей. – Сколь бы ты, Пётр Андреев сын, ни говорил мне о низком своем происхождении, кровь в тебе течёт княжеская, и что такое честь, тебе не хуже моего ведомо. Ведомо тебе, мысля, и то, что мужчине в семье с молодых ногтей надлежит быть защитником и блюстителем живота и чести, особенно когда дело касается женщины – матери, жены или, скажем, сестры...

Княжич Басманов не вдруг сообразил, на что намекает ясновельможный пан Анджей. Произошло сие не от прирождённой глупости или тугоумия, но единственно от простодушия княжича, который, не ведая за собой иной вины, опричь бедности и не совсем ясного, а вернее, очень даже ясного происхождения, не мог взять в толк, на что людям, не имеющим до него никакого касательства, выдумывать про него то, чего на деле не было.

Когда же заключённый в словах пана Анджея неприятный намёк постепенно дошёл до сознания пленного москвитя, его обрамлённое русой бородкой скуластое лицо закамелело, а серые глаза потемнели и сузились в две недобрые щелочки. Щелочки эти глянули на пана Анджея так, что стоявший поодаль Тадеуш Малиновский на всякий случай придвинулся ближе, положив, будто невзначай, ладонь на эфес сабли. Нападать вдвоем на одного, да ещё безоружного, конечно, негоже, но и бросать старого друга в беде один на один с таким медведем тоже никуда не годится. После совесть замучит, что не вмешался, не спас, да и люди станут глаза колотить: куда ж ты смотрел, когда товарища твоего и благодетеля русский медведь голыми руками на куски рвал?

– Так это что же получается? – сквозь зубы спросил Басманов. – Выходит, Станислав наш Андреевич на меня налетел, чтоб я сестру его не обижал? А я её, стало быть, обидел? Тогда казни меня, ясновельможный! Всё едино в том, в чём не виноват, я оправдываться не стану.

– Да никто ведь и не говорит, что виноват, – кривясь, словно от зубной боли, с неохотой выговорил пан Анджей. Он даже немного разозлился на своего не в меру простодушного пленника: нельзя, в самом деле, дожив до таких лет и даже бороду себе отрастив, по-прежнему полагать добродетелью детскую наивность!

– А кто ж виноват? – лишний раз подтверждая не слишком лестное мнение о себе, развёл руками княжич. – Ежели я не виноват, почто меня саблей-то рубить хотели? Что-то ты, ясновельможный, недоговариваешь, крутишь ты что-то, душою кривишь. А со мной того не надобно. Ежели есть за мной что-то, чего я и сам не ведаю, ты мне так прямо и скажи. А только,

мнится, сказать-то тебе и нечего. Дочь твоя, пани Юлия, пригожа да красна, и нравом кротка, яко горлица, и обижать её у меня и в мыслях не было. Я на неё глянуть-то лишний раз боюсь...

– А вот она на тебя поглядывает весьма благосклонно, – хмуро вставил пан Анджей.

– Да что ж тут такого? – опять развёл руками московит. – На то Господь людям глаза и дал, чтоб на белый свет глядеть. Поглядывает... Да я уж замечал, что поглядывает, оттого её и сторонюсь. Кто я, а кто она? Не будь я твой пленник, да будь мы с нею одной веры, глядишь, и сватов бы заслал. А так...

Он махнул рукой и пожал широкими плечами. Пан Анджей вздохнул. Замечая, какими глазами смотрит на пленника его дочь, Закревский не единожды ловил себя на мысли, что при иных обстоятельствах лучшего зятя ему бы не сыскать. Что с того, что небогат? При его отважном сердце и крепкой руке такой рыцарь мог бы саблей добыть себе и богатство, и славу. Юлии он люб, и она до конца дней своих была бы счастлива, живя за ним, как за каменной стеной. А о чём ещё может мечтать любящий отец, как не о счастье своих детей?

Но печалиться о том было ни к чему, ибо сей путь к счастью для Юлии Закревской был заказан. Слишком много препятствий стояло на этом пути, чтобы всерьёз думать о таком замужестве. А сегодня к этим препятствиям добавилось ещё одно в лице Станислава, который ещё утром почитал пленного московита едва ли не лучшим своим другом, а ныне со свойственной юности поспешной горячностью, похоже, зачислил его в злейшие враги.

– Тебе я верю и вины за тобой не числю, ибо знаю тебя и люблю, как родного сына, – искренне признался пан Анджей, вызвав одобрительный кивок продолжавшего стоять поодаль Малиновского. – Но злые языки разное болтают про тебя и Юлию. Мнится, эти сплетни достигли слуха Станислава...

– Так и думал, что напраслина, – зло проговорил княжич. – То-то он взбеленился! Ты скажи, ясновельможный, кто те сплетни распускает, я ему живо голову носом к пяткам поверну!

Пан Анджей покачал головой.

– Нас в семье двое мужчин, и укоротить языки сплетникам – наше, семейное дело. Первое же, что надобно сделать, дабы оградить честь моей дочери от злого навета, это лишить клеветника повода для измышления новой напраслины.

Княжич невесело усмехнулся и в свой черёд покачал русой головой.

– А повод – я, – сказал он. – Что ж делать станешь, ясновельможный? Нешто на бой меня позовёшь? Как это по-вашему – дуэль?..

– Напрасно ты меня обижаешь, – вздохнул пан Анджей. – Я тебе зла ни словом, ни делом не причинил. А если что не по нраву пришлось, прости – то не со зла, а по неразумию нашему деревенскому. Рода мы, хоть и старого, но не княжеского, посему не обессудь, коль что не так.

– И ты меня прости, ясновельможный, – поклонился пленник. – Принимал ты меня, и верно, как гостя, да жаль, добра из того не вышло. Вместо честного выкупа, кой тебе по обычаю полагается, одно лихо нажил. Как поступить-то мыслишь? Аль перевезёшь меня куда? Вон, хоть бы и к пану Тадеушу на хутор. Хлеб я свой сполна отработаю, и от дочки твоей далече...

Пан Анджей на минуту задумался. Такой простой способ решения проблемы ему как-то не приходил в голову. Впрочем, по зрелому размышлению, способ этот представлялся не таким простым и далеко не самым действенным. Хутор Малиновского не за тридевять земель, в тридесятом царстве, а всего-то в десяти вёрстах отсюда. А десяти вёрст маловато для того, чтобы сплетня зачахла сама собой, как растение без полива и солнечного света. Пока московит будет оставаться в округе, слухи не улягутся. Стало быть, жди новых неприятностей; будут косые взгляды, будут смешки за спиной, обидные намёки; дуэли тоже будут, и, судя по тому, что пан Анджей видел только что, в одной из этих дуэлей, и хорошо, если не в самой первой, погибнет его сын.

– И сколько прикажешь тебя в неволе держать? – спросил он. – До самой смерти? Заставить тебя, князя, землю пахать да за скотиной ходить? Думается мне, нет в том ни чести, ни особого смысла.

– Нешто отпустишь? – удивился княжич.

– Отпущу, – решительно молвил пан Анджей, вызвав удивлённый и вместе с тем одобрительный взгляд Малиновского. – Коня твоего тебе верну, хоть и жалко – конь у тебя добрый. Саблю верну, пищаль – ну, словом, всё, что при тебе было, когда ты ко мне в плен попал.

– Спаси тебя Бог, ясновельможный, – с низким поклоном молвил княжич. – Прости, ежели что не так. А пищаль себе оставь. Пищаль добрая, но для тебя не жалко – дарю. Что же до выкупа, кой тебе, чаю, лишним не будет, то вот моё слово: как только доберусь до дома, продам свою деревеньку и деньги тебе вышлю. А то, глядишь, и сам привезу. Так оно и надёжней, и приятнее выйдет. Мнится, буду я по тебе скучать, ясновельможный пан Анджей.

Они обнялись; вослед за хозяином вчерашнего пленника сердечно обнял прослезившийся от умиления, а паче того от выпитого за обедом вина пан Малиновский. При этом никто из мужчин не заметил, как за углом амбара метнулся и пропал, скрывшись в направлении дома, белый подол девичьего платья.

Юлия Закревская провела ночь без сна, орошая горячими слезами подушку – единственную свидетельницу и наперсницу первой девичьей любви.

А утром, чуть свет, оседлав застоявшегося в чужой конюшне гнедого, княжич Пётр Басманов распрощался с хозяевами и выехал за ворота. Подгоняемый тоской по родным местам, коих не видел уже целый год, он ехал, не оглядываясь, жалея лишь о том, что не может пустить коня в галоп – путь ему предстоял неблизкий, и гнедого следовало беречь. На боку у княжича висела его старая сабля, коей он не держал в руке с того самого дня, как его полонил не столько пан Анджей, сколько не к месту и не ко времени повстречавшийся на дороге сосновый сук; из притороченной к седлу кожаной сумы выглядывала богато изукрашенная рукоять подаренного хозяином пистоля. Нежданно-негаданно получивший свободу пленник держал путь туда, где над чёрной зубчатой кромкой утонувшего в утреннем тумане леса поднималось солнце, не ведая, что путь домой окажется куда более долгим и опасным, чем он мог себе представить.

* * *

Расчерченный дубовыми балками потолок терялся в сумраке, равно как и углы громадного, завешенного потемневшими старинными гобеленами и тронутым ржавчиной оружием зала. В закопченной пасти громадного камина, где можно было целиком зажарить быка, горел, потрескивая, жаркий огонь. Его оранжевые отблески играли на выложенном каменными плитами полу, поблескивали на полированных боках установленных в простенках рыцарских лат и озаряли зловещим багровым светом тяжёлое, будто вырубленное топором из твёрдого дерева лицо сидевшего в массивном кресле человека. По бокам узкого, как сабельный шрам, жестокого рта залегли глубокие складки, отчасти скрытые длинными седыми усами, глаза настороженно поблескивали из тёмных, занавешенных косматыми бровями глазниц. Обритый наголо, серебрищийся отросшей щетиной череп, оттопыренные хрящеватые уши и загнутый крючком, подобно клюву хищной птицы, нос дополняли картину. Отсветы огня переливались на золотом шитье богатого кунтуша и вспыхивали яркими подвижными искрами в обрамлённых массивным старинным золотом драгоценных камнях, что унизывали длинные, костлявые пальцы. Пальцы эти сжимали бумажный свиток, с коего свисала, раскачиваясь на витом шнурке, небрежно сломанная печать. Ноги сидевшего, обутое в мягкие сафьяновые сапоги, стояли на разостланной перед камином косматой медвежьей шкуре, которая бессмысленно тарасила на огонь стеклянные глаза и грозно скалила пожелтевшие клыки.

Отхлебнув вина из стоявшего под рукой, на краю бескрайнего дубового стола тяжёлого серебряного кубка, граф Вислоцкий заново, с самого начала перечитал грамоту. Свободная рука, пошарив у горла, нащупала толстую золотую цепь, на которой висел образ Пресвятой Девы Марии, и сдвинула так, словно хотела оборвать. Другая рука гневно скомкала свиток, не содержащий ровным счётом ничего утешительного, и швырнула в огонь. Несколько мгновений бумага, как живая, корчилась на раскалённых углях, и написанные угловатыми готическими буквами строки, казалось, извивались, подобно змеям. Затем скомканный лист потемнел и вспыхнул, в два счёта сгорев дотла. Поток горячего воздуха подхватил невесомые хлопья пепла и утащил в каминную трубу.

– Пся крэв! – выругался граф и одним глотком допил вино, что ещё оставалось в кубке.

Из сумрака у дверей бесшумно выступил лакей, на цыпочках приблизился к столу и, избегая даже искоса смотреть на графа, который в гневе бывал страшен, наполнил кубок из стоявшего на столе кувшина. Вислоцкий, казалось, этого не заметил, продолжая остановившимся взглядом смотреть в огонь, будто в прихотливых, никогда не повторяющихся извивах пламени пытался прочесть своё будущее.

– Пожаловал пан Быковский, – доложил лакей – не громко и торжественно, нараспев, как во время приёмов, а вполголоса, ибо граф не любил громких звуков, а недовольство своё выражал самыми неожиданными и порой весьма болезненными способами, от обычного пинка до выстрела из пистолета, ежели таковой случался под рукой.

– Зови, да поживей, – мрачно проворчал граф. – Я уже устал ждать. Где вас всех носит, когда вы нужны?!

Сорвав таким образом на лакея своё дурное настроение, граф откинулся на спинку кресла и пригубил вина.

Стуча сапогами по каменным плитам пола, к нему подошёл и с поклоном остановился в двух шагах от кресла Вацлав Быковский. Густые чёрные волосы пана Вацлава были подстрижены скобкой, со стороны отдаленно напоминая воронёный шлем; шелковистые усы были любовно, волосок к волоску, расчёсаны, а карие глаза на красивом и мужественном лице сердцееда и забияки сверкали затаённым дьявольским весельем.

– Спешу доложить вашему сиятельству, что наш план полностью удался, – обнажив в вежливой улыбке белоснежные зубы, сказал он.

– Спешу напомнить пану, что план был не наш, а его, – громко, чтобы было слышно у дверей, возразил граф и обернулся к лакею. – Налей пану Быковскому вина и убирайся!

Выпрямившись, Быковский отступил на шаг и присел на краешек указанного графом кресла. На его смазливой физиономии, по которой тайно, а порой и явно вздыхала половина замужних женщин в округе, не говоря уже о засидевшихся в девках шляхтяночках, появилось озадаченное выражение: его сиятельство явно был не в духе, а когда граф Вислоцкий не в духе, рядом с ним не мог чувствовать себя в полной безопасности даже король.

Лакей удалился, бесшумный, как призрак. Высокая двустворчатая дверь негромко стукнула, закрывшись за ним. Какое-то время граф Вислоцкий сидел неподвижно и по-прежнему смотрел в огонь, словно забыв о посетителе. Наблюдая за ним и потягивая вино, Быковский задумчиво теребил длинный смоляной ус. Настроение графа не нравилось пану Вацлаву, ибо он уже давно зависел от капризов своего могущественного покровителя. Капризов же становилось всё больше по мере того, как граф старился, и приступы дурного настроения у него случались всё чаще и чаще. Причина раздражительности графа была пану Быковскому хорошо известна: графская казна пуста, а вместе с деньгами иссякало его влияние на короля и сейм – влияние, к которому граф привык так прочно, что полагал его неотъемлемой частью своего положения. Ныне это привычное и весьма удобное положение стремительно менялось далеко не в лучшую сторону; спасти графа мог удачный брак одной из трёх его дочерей, однако женихи что-то не торопились толпами стекаться к его порогу.

Женихов тоже можно было понять: дочери графа, увы, не блистали красотой, и утекающее время ничего не прибавляло к их уже начавшим увядать сомнительным прелестям. И, ежели учесть, что женихи графу Вислоцкому требовались не какие попало, а только богатые, знатные и влиятельные, поставленную им перед собой задачу – поскорее выдать замуж всех трёх дочерей – можно было назвать невыполнимой.

Граф же, казалось, этого не видел – вернее, не хотел видеть, ибо в противном случае ему оставалось бы только признать своё поражение и, опустив руки, смиренно принять то, что уготовила ему судьба. Иной на месте графа так бы и поступил, но его сиятельство был не таков: смолоду привыкнув, что любое его желание исполняется скорее, чем он успеет произнести его вслух, он и к старости не переменял своих взглядов, продолжая стоять на своём с упорством, которое в последнее время стало наводить Вацлава Быковского на неприятные мысли о приближающемся к графу старческом слабоумии.

Вот взять, к примеру, последнюю его затею, авторство коей он зачем-то попытался только что свалить на Быковского. Спора нет, распустив по округе слух, будто бы дочка соседа Юлия Закревская вовсю обнимается за амбаром с пленным москвитом, пан Вацлав существенно снизил шансы этой девчонки когда-либо выйти замуж за человека, имеющего хотя бы отдаленное представление о чести и приличиях. Но что с того? Какой от этого прок графу Вислоцкому и его дочерям? Можно подумать, отвернувшись от Закревской, женихи так и кинутся наперегонки в его замок... Без подлых поступков в жизни, пожалуй, не обойдёшься, но подлость, совершаемая ради самой подлости, бессмысленна. А бессмысленно подлые поступки суть признак слабости ума и духа.

Это было скверно. Быковский ничего не имел против того, чтобы верой и правдой служить одному из самых знатных и влиятельных вельмож Речи Посполитой, но расширяться в лепешку и рисковать головой, выполняя безумные приказы старика, который ни о чём не может думать и говорить, кроме своих засидевшихся в невестах дочерей, представлялось ему не только глупым, но и небезопасным. Выхода, однако ж, не было. Злотые, что бренчали в карманах Вацлава Быковского, попадали туда из кармана графа; еда, которую ел пан Вацлав, и вино, которое он пил, являли собою лишь крохи с графского стола. Сам же Вацлав Быковский не имел ничего, опричь захудалого, сто раз заложенного и перезаложенного имения, кое, как он не без оснований предполагал, у него вот-вот должны были забрать за долги.

Кроме безвыходности положения, Быковского удерживали подле графа ещё кое-какие практические соображения. С его помощью Вислоцкий всё-таки имел шанс добиться желаемого, хорошо пристроить кого-нибудь из дочерей и вновь возвыситься. Тогда, быть может, с ним случится один из нечастых приступов великодушия, и он снизойдет до того, чтобы отплатить Вацлаву Быковскому за труды, выдав за него одну из двух оставшихся невест. Почему бы и нет? Их у него целых три, богатых да знатных женихов на всех троих по всей Речи Посполитой не сыщешь, а Быковский – человек верный и верность свою не единожды доказал.

Замысел сей, казалось, был близок к успешному воплощению. Стараниями Вацлава Быковского ландграф Вюрцбургский Карл, коему, по мнению его высокородного кузена, императора Фердинанда, давно пора было остепениться и завести жену и наследников, заинтересовался персоной средней дочери графа Вислоцкого, Марии. Предварительные переговоры велись уже на протяжении полугода, и Быковский предполагал, что скоро они так или иначе завершатся. Помимо денег и чести породниться с немецким императорским домом, брак сей сулил графу Вислоцкому немалые политические выгоды: королю должно было понравиться, что граф скрепил не слишком прочную дружбу Польши и Германии узами брака.

Посему, узнав, что граф зовет его к себе, пан Быковский воспрянул духом. Невзирая на свой крутой, трудно предсказуемый нрав, его сиятельство, когда бывал доволен, не скупился на вознаграждение. Увы, выражение лица графа предвещало отнюдь не щедрую награду, а нечто совсем иное – то, чего пану Вацлаву и даром не надобно.

Впрочем, ещё оставалась слабая надежда, что дурное настроение графа продиктовано плохим пищеварением или ещё какой-либо из стариковских болячек, кои медленно, но верно начинали одолевать некогда несокрушимого, а ныне основательно одряхлевшего воина и политика.

Граф всё так же сидел, глядя в огонь, и, казалось, не собирался начинать разговор, ради которого велел разыскать Быковского. Решив напомнить о себе, пан Вацлав деликатно кашлянул в кулак и доверительно произнес вполголоса:

– Закревский...

– Что – Закревский? – не оборачиваясь, перебил его граф так резко и сердито, что Быковский едва заметно вздрогнул и переменялся в лице.

Рассказ о том, какое действие возымела сплетня на молодого Станислава Закревского, был у Быковского готов загодя. Повествование сие было выдержано в шутовском тоне, который, судя по настроению графа, ныне был решительно неприемлем. Перестраиваясь на ходу и оттого скомканно и не совсем убедительно, пан Вацлав рассказал, как по его наущению известная его сиятельству, а заодно и всему городу богатая содержанка Анна Сокульская передала сплетню Станиславу Закревскому, и как тот вспылит, уразумев, о чём идет речь. Рассказал он и о том, какая сцена разыгралась между молодым Закревским и пленным москвитом на заднем дворе (сие было ему известно от заранее подкупленного слуги Закревских), и даже о том, что посланный в Москву за выкупом пан Тадеуш Малиновский вернулся из своей опасной поездки с пустыми руками.

Граф слушал его невнимательно – как показалось пану Вацлаву, совсем не слушал. Когда Быковский растерянно умолк, его сиятельство, наконец, соизволил повернуть к нему хмурое, иссеченное тяжелыми складками лицо и скрипучим, истинно стариковским голосом сварливо произнёс:

– Очень мило. Мой самый преданный слуга – вернее сказать, тот, кого я таковым полагал, – развлекается, строя мелкие козни, в то время как настоящее дело почти проиграно. Да что там – почти!..

Он оборвал себя, безнадежно махнув рукой, и сделал большой глоток из кубка. Глядя, как он пьёт, Быковский подумал: «К вечеру у старика непременно разыграется подагра, и тогда держись. Достанется всем, до кого он сможет дотянуться, и дай мне Бог к тому времени очутиться подальше и не попасть в число этих бедняг».

– Я не совсем понимаю... – осторожно начал он.

– Нет, ты совсем не понимаешь! – грохнув по столу кулаком, рявкнул граф. – Сегодня гонец привез мне письмо из Германии...

– От ландграфа Вюрцбургского? – осмелился предположить Быковский.

– Держи карман шире! Этот надутый колбасник трусливо отмалчивается, ибо знает, что виноват передо мной. Письмо прислал наш посланник при дворе императора Фердинанда. Он пишет, что во дворце поговаривают, будто кузен императора, Карл Вюрцбургский, намерен обвенчаться с дочерью русского князя Басманова...

– С кем?! – не поверил своим ушам огорошенный неожиданным известием Быковский.

– Ты удивлен? – неприятным голосом спросил граф Вислоцкий. – Неужели? Я думал, это часть твоего знаменитого плана, о котором ты прожужжал мне все уши. Я поверил тебе, ясновельможный пан Вацлав, поверил настолько, что имел неосторожность рассказать королю о возможной скорой женитьбе Карла Вюрцбургского на моей дочери. Король был весьма доволен. Он заявил, что возлагает на этот брак большие надежды... И что прикажешь сказать ему теперь? Что брак расстроился из-за нерадения одного из моих ближайших помощников, который так увлекся распусканием глупых сплетен о какой-то нищей девчонке, что забыл, на каком свете живёт, и дал обойти себя этому хитрому азиату?

Пан Быковский постепенно приходил в себя после пережитого потрясения. Сварливые речи графа он слушал вполуха, ибо они не содержали в себе ничего для него нового: он загодя знал, что победу в этом нелёгком деле граф постарается приписать исключительно своему уму и прозорливости, а вину за возможное поражение непременно свалит на него, Вацлава Быковского. Изворотливый ум пройдохи, вынужденного добывать себе пропитание обманом и хитростью, заметался из стороны в сторону в поисках спасительной лазейки.

– Этого не может быть, – сказал, наконец, пан Быковский, не придумав ничего более умного и подходящего к случаю.

– Да ну?! – со свирепой весёлостью, не предвещавшей ничего хорошего, изумился граф Вислоцкий. – Это почему же, позволь узнать?

– Потому что это невозможно! – беспомощно выпалил Быковский. – Это какой-то непроверенный слух, сплетня, а может быть, попытка кого-то из завистников смутить вас и тем воспрепятствовать исполнению ваших планов...

– Молчи, болван, коли сказать нечего! – снова возвысил голос граф. – Сплетня... Ах, как бы я был рад, как счастлив, если б то была всего лишь сплетня! Чужая зависть суть не что иное, как неохотное, через силу, признание твоего успеха, а что может быть слаще такого признания? Речи льстецов сладки, но неискренни и криводушны. Злоба же и зависть никогда не бывают притворными, они всегда идут от сердца и тем полезны человеку, умеющему пользоваться чужими слабостями. Но письмо написано верным человеком, моим старинным приятелем. Он многогрешен, велеречив и наделен едва ли не всеми мыслимыми пороками. Однако, когда ему платят за доставляемые сведения, сведениям этим можно верить. Так вот, в письме назван день отъезда княжны Басмановой в Баварию, и день этот минул без малого неделю назад.

– Неужели всё кончено? – ужаснулся Быковский.

Воображение немедленно принялось рисовать ему перспективы, одна другой мрачнее – от изгнания с глаз долой из графского замка на собственные скудные хлеба до помещения в пыточный застенок с последующим захоронением в безымянной могиле на задворках скотного двора.

– Верно, было бы кончено, если б в этом деле я целиком положился на тебя одного, – проворчал граф. – Налей-ка мне вина. А пока станешь наливать, подумай или хотя бы попытайся подумать над тем, что я тебе только что сказал. Можешь налить и себе – это даст тебе лишнюю минуту на размышления.

Безропотно проглотив очередное оскорбление, пан Вацлав взял со стола кувшин и до краев наполнил сначала кубок графа, а затем и свой. Соображал он скоро, но не настолько, чтобы в единый миг угадать, что на уме у графа Вислоцкого, коего в не столь далеком прошлом почитали первейшим мастером придворных и политических интриг при королевском дворе. Граф говорил о том, что княжна Басманова должна была выехать из Москвы в Баварию чуть меньше недели назад; всё остальное являло собою смесь оскорблений, раздраженного ворчания и нравоучений того сорта, что мог бы читать старый паук молодому, подстерегая добычу в тёмном углу пыльного чулана. Следовательно, ключом к новому замыслу графа служила именно поездка русской княжны, которая, если верить полученному из Германии письму, продолжалась уже без малого неделю. За это время можно уехать очень далеко...

Быковский вздрогнул, едва не расплескав драгоценное вино. Граф Вислоцкий напрасно намекал на слабые умственные способности пана Вацлава, который был не только сметлив, но и недурно по тем временам образован. По крайности, географические карты не были для него просто раскрашенными листами бумаги: он умел и любил их читать и хотя бы в общих чертах представлял себе, где на карте Европы искать то или иное государство и даже город.

Сейчас упомянутая карта, будто наяву, предстала перед его мысленным взором; прочертив тонкую пунктирную линию от далекой Москвы до почти столь же далекого Вюрцбурга

и наспех прикинув, сколько времени должно занять сие продолжительное путешествие, пан Вацлав начал прозревать, и именно это заставило его вздрогнуть.

Медленно опустив на скатерть полупустой кувшин, он столь же медленно поднял голову и взглянул на графа. Вислоцкий смотрел на него поверх кубка. На фоне пляшущих в камине языков огня обрита, с оттопыренными ушами голова графа представлялась чёрным, будто вырезанным из бумаги силуэтом в золотистом ореоле едва отросших по бокам костистого черепа волос. На этом тёмном фоне недобрым кровавым светом поблескивали утонувшие в морщинистых складках кожи глаза, и пану Вацлаву на мгновение сделалось по-настоящему жутко, словно он нечаянно очутился наедине с голодным вурдалаком.

– Если... – начал он, но вынужден был прерваться, чтобы глотнуть вина для освежения внезапно пересохшей глотки. – Если, – продолжал он окрепшим голосом, подстегиваемый твёрдым, недобрым взглядом графа Вислоцкого, – так вот, если полученное вами донесение не лжет, княжна Басманова сейчас находится где-то неподалеку.

Граф, наконец, оторвал от него сверлящий, пронзающий насквозь взгляд, удовлетворенно кивнул и пригубил вина.

– Ты далеко не такой глупец, каким порой кажешься, – молвил он, плавным движением возвращая кубок на стол. – Донесение, скорее всего, не лжет, и княжна, как ты верно подметил, сейчас должна находиться где-то неподалеку. Ещё немного, и она проедет мимо. Тогда для нас всё и впрямь будет кончено. Время не ждет, и ты, если поспешишь, сумеешь воспрепятствовать богопротивному браку кузена богопомазанного императора Фердинанда и этой пронырливой схизматки.

– Но как? – изумился пан Вацлав Быковский, делая последнюю попытку не замечать очевидного. – Не предлагаете ли вы мне самому на ней жениться?

– О, нет, – ответил граф, недобро усмехнувшись. – Этого я тебе не предлагаю. Вообще, не кажется ли вам, пан Вацлав, что затея князя Басманова изначально представляла собой весьма сомнительную авантюру с мизерными шансами на благополучный исход? Подумайте сами, какой неимоверно долгий и полный опасностей путь надобно проделать беззащитной девице, дабы в конце его упасть в объятия жениха, коего она отродясь в глаза не видела!

Быковский подумал, что беззащитную девицу наверняка охраняет десятка два вооруженных до зубов всадников; что же до жениха, с которым княжна не была знакома, так то же самое можно было сказать и о дочерях господина графа.

– Но их отношения не должны нас волновать, – будто подслушав его мысли, сказал Вислоцкий. – Тем более что, по моему твёрдому убеждению, никаких отношений меж ними и не будет. Сдается мне, что княжне просто не суждено добраться до рубежей священной Римской империи, коей правит кузен её жениха. Подумайте сами, пан Вацлав, сколько опасностей, порою смертельных, подстерегает бедняжку на пути! Лесные звери, разбойники, кои хуже любого зверя, быстрые реки, топкие болота... На этом пути может легко потеряться целая армия. Что уж говорить об отряде в полтора десятка сабель, охраняющем княжну? Этот отряд в нашей округе подобен ложке мёда, опущенной в котёл с крутым кипятком: оглянуться не успеешь, а его уж нет, и непонятно, куда подевался... Впрочем, что нам до отряда? Одна случайная стрела, одна шальная пуля, прилетевшая неведомо откуда, и дело сделано: брак ландграфа Вюрцбургского с русской княжной расстроен раз и навсегда, а охрана вольна действовать далее по своему разумению: возвращаться в Москву, где всех их будет поджидать плаха, или бежать, куда глаза глядят, себе на погибель...

Вацлав Быковский помолчал, задумчиво грызя смоляной ус. Судьба отряда, что охранял княжну Басманову, его не интересовала. В распоряжении графа Вислоцкого было достаточно всадников, чтобы шутя справиться с любым отрядом. Посему задача, которую, судя по всему, собирался поставить перед ним граф, представлялась вполне пустяковой, если бы не одно весьма неприятное обстоятельство. Пану Вацлаву Быковскому не единожды приходилось

сводить последние счёты с людьми, чем-либо не угодившими графу, и он уже давно не видел ничего зазорного в том, чтобы выстрелить противнику в спину: в любви и на войне все средства хороши. Но лишать жизни женщин, да ещё и благородного происхождения, ему до сей поры не доводилось. Остатки полученного некогда воспитания протестовали против мысли о подобном деянии, однако здравый смысл подсказывал, что такие протесты ни к чему хорошему не приведут: исполнителя своего чёрного замысла граф сыщёт всё равно, княжна будет уничтожена в любом случае, зато пан Вацлав Быковский, отказавшись от столь ответственного поручения, рискует лишиться всего, в том числе и головы.

Обдумав всё хорошенько, он встал с кресла и, придерживая на боку саблю, низко поклонился графу.

– Я готов, – просто сказал он, опустив дальнейшие рассуждения, в коих не было никакой нужды. – Когда прикажете выехать?

– На рассвете, – сказал граф. – Возьми три десятка конных. Действуй по своему разумению, но помни: от успеха сего предприятия зависит твоё будущее. Девчонка должна исчезнуть без следа. Если всё будет сделано должным образом, тебе не придётся пенять на недостаток щедрости с моей стороны.

– Целую руки вашей милости, – кланяясь вновь, молвил пан Быковский.

– Ступай, – приказал граф. – Да скажи там этому бездельнику, чтобы подбросил в камин поленьев, я замёрз...

Ещё раз поклонившись напоследок, пан Вацлав повернулся к хозяину спиной и скорым шагом покинул залу. Граф проводил его долгим, ничего не выражающим взглядом, после чего вновь повернулся к камину и стал смотреть на угасающий огонь, будто заранее приучая себя к зрелищу неминуемо ожидающего его после смерти пекла.

Глава 3

Миновав скверно возделанное поле, на котором изредка можно было встретить оборванного смерда, что ковырял деревянной сохой сухую землю и испуганно, как забитое животное, косился на проезжающих, небольшой отряд короткой вереницей втянулся в густой заповедный лес. Огромные, в три-четыре обхвата, многовековые дубы-великаны простёрли над дорогой могучие ветви, совершенно заслонив солнце. Под их сенью царил вечный, пахнувший грибной прелью зеленоватый сумрак, земля была ровно и густо, как морской берег галькой, засыпана падавшими на неё на протяжении столетий желудями, которые маслянисто поблёскивали в пробивающихся сквозь густой полог листвы косых солнечных лучах. Дорога здесь являла собою просто неширокую полосу свободной от деревьев земли, столь же густо усеянной желудями, как и повсюду кругом, из чего следовало, что ездят здесь нечасто.

Оценив это обстоятельство, ехавший во главе отряда закованный в воронёные латы светловолосый гигант из предосторожности поднял кольчужный воротник, закрыв горло до самого подбородка. Многие из ехавших следом, так же, как и он, закованных в железо всадников последовали его примеру: кольчуга – скверная защита от пули или стального арбалетного болта, но от выпущенной из самодельного лука, выстроганной из свежесрезанной ветки, кое-как заостренной и обожжённой над углями стрелы она может спасти. На отряд нападали уже дважды, и оба раза это были шайки жалких, едва держащихся на ногах от голода, грязных оборванцев, вооружённых чем попало и настолько скверно владеющих даже тем, с позволения сказать, оружием, коим обладали, что предводитель отряда мог в одиночку раскидать их, как щенков, даже не обнажая шпаги. Впрочем, дрались они отчаянно, из чего следовало, что для них это вопрос жизни и смерти, так что без крови не обошлось: позади осталось не менее двух десятков изрубленных, прошитых пулями и арбалетными стрелами разбойников, а также, увы, трое оказавшихся недостаточно проворными ландскнехтов.

Вспоминая эти стычки, командир небольшого отряда швейцарских и немецких наёмников, уроженец кантона Швиц Ульрих фон Валленберг дивился только одному: отчего это поляки обзывают москвитов дикарями и азиатами, коль сами недалеко от них ушли? Судьба троих оставшихся в придорожных кустах кнехтов фон Валленберга не волновала: смерть – ремесло солдата, а жизнь его – всего-навсего товар, который он более или менее удачно меняет на золото.

Валленберг уже полных десять лет верой и правдой служил ландграфу Карлу Вюрцбургскому. Ему было уже под сорок, и в последнее время он начал с горечью и легким испугом осознавать, что становится староват для своего ремесла. Возвращаться на родину не было смысла, ибо на каменистой почве кантона Швиц хорошо произрастали только плечистые молодцы вроде него, большинству которых, дабы худо-бедно прокормиться, приходилось наниматься в армию какого-либо государя. Дожить до старости удавалось немногим, и лишь единицы возвращались домой с тем, зачем когда-то отправились в дальние края, то бишь с туго набитым кошельком, в котором, лаская слух, позванивало золото.

Ульрих фон Валленберг, увы, не принадлежал к числу этих счастливых, ибо за все годы службы так и не научился копить деньги. Причиной тому была вовсе не врожденная расточительность или, Боже сохрани, глупость. Валленберг просто не мог понять, как человек, занятый его ремеслом, может загадывать наперед, строить какие-то планы и не казаться при этом смешным. В кантоне Швиц не осталось никого, кто мог бы назвать Валленберга своим родичем, а посему наследником его с неизбежностью должен был стать какой-нибудь мародёр, коему посчастливилось первым обобрать остывающий на поле боя изувеченный труп.

Как-то раз совсем недавно он заговорил об этом со своим господином, Карлом Вюрцбургским, при котором в последнее время состоял телохранителем. Ландграф выслушал ста-

рого солдата со всем вниманием, на кое был способен по молодости лет, после чего, казалось, напрочь забыл о разговоре. Валленберг не обиделся: ничего иного он и не ждал, а о том, что стареет, заговорил с ландграфом лишь в силу присущего его простой натуре прямодушия: он не хотел, чтобы Карл заблуждался по поводу его способности нести службу, и честно предложил поискать себе замену.

Произошло сие после того, как во время обычной учебной схватки на заднем дворе замка неопытный, но здоровенный, как бык, новобранец ухитрился выбить из руки Валленберга шпагу. Это видели все, и все, в том числе и сам Валленберг, понимали, что то была досадная случайность. Но капитан Валленберг не признавал оправданий и в тот же день явился к своему господину, Карлу Вюрцбургскому, прося отставки. Отставка не была принята, и, поостыв, капитан с неохотой признал правоту ландграфа: сам он сколько угодно мог называть себя стариком, на деле же стоил десятка менее опытных бойцов. Лучшего же начальника охраны Карлу было не сыскать; о том знали оба, и разговор, начавшись с произнесённой каменным тоном просьбы принять отставку, вскоре плавно перетёк в дружескую беседу, в коей, как после со смущением осознал Валленберг, он единственно и нуждался.

Спустя неделю ландграф вызвал его к себе. Оказалось, что Карл вовсе не забыл о том разговоре. Перечислив заслуги капитана Валленберга, которых и впрямь было немало, ландграф предложил ему весьма приличную сумму одновременно и небольшую ежегодную ренту, ежели тот выполнит его последнее поручение: встретит на границе Московии и Речи Посполитой и невредимой доставит в Вюрцбург его невесту, княжну Басманову. После того, заявил ландграф, капитан Валленберг будет свободен от всяких пред ним обязательств: захочет – продолжит службу в замке, не захочет – удалится на покой, что, с учётом предлагаемой суммы, выглядело весьма привлекательным делом.

Поручение, конечно, представлялось опасным, однако отказываться нельзя: Валленберг не хотел уронить профессиональную честь, да и деньги для наёмника лишними не бывают. Коротко отсалютовав хозяину, капитан вышел и без промедления стал собираться в дорогу.

И вот теперь, расслабленно покачиваясь в седле, старый наёмник с обманчиво благодушным видом озирал окрестности из-под белесых, как у молодого поросенка, ресниц, что опушали его красноватые от бессонницы и усталости глаза. Рука привычно лежала на эфесе шпаги; жёсткий металл кольчужного воротника уже согрелся от соприкосновения с телом и больше не охлаждал кожу. Дубовая роща кончилась; вместе с нею кончился и неприятно хрустевший под конскими копытами скользкий желудёвый ковер. Теперь рослый гнедой жеребец Валленберга с мягким перестуком ступал ногами по слегка припорошенной прошлогодней хвоей утоптанной земле. Дорога поросла жёсткой, остроконечной, как лезвия шпаг, лесной травой; кое-где на неё уже выползли кусты и даже молодые деревца. Капитана предупреждали, что здешние места пользуются дурной славой даже у местного населения, однако он торопился, а посему, имея у себя под рукой без малого два десятка хорошо вооружённых всадников, решил ради сокращения пути пренебречь опасностью очередного нападения шайки голодранцев.

Прихотливо, без видимой необходимости изгибаясь и петляя, дорога лениво карабкалась на высокий, поросший толстыми старыми соснами и серебристым мхом песчаный холм. В вековом сосновом бору было светло и просторно, как в огромном храме, медные колонны сосен возносили к испятнанному белой пеной облаков голубому небу пышные тёмно-зелёные кроны. Где-то неподалеку выбивал гулкую барабанную дробь красноголовый дятел; мягко стучали копыта, всхрапывали лошади, негромко позвякивала сбруя. Запах разогретой солнцем сосновой смолы и хвои пьянил, как молодое вино, забывая даже ставшие привычными запахи конского пота, дублёной кожи и железа. Вместе с карабкавшимся к зениту солнцем понемногу поднималось настроение. Валленберг повеселел, особенно когда вспомнил, что сегодня, быть может, ему удастся встретить поезд княжны Басмановой и, взяв её под свою охрану, вернуть восвояси. Ему было любопытно взглянуть на избраницу ландграфа, тем паче что сам

Карл Вюрцбургский её ещё не видел; шевеля губами, он про себя повторил заученные перед отъездом, казавшиеся смешными и бессмысленными слова чужого языка: «Я – капитан гвардии ландграфа Вюрцбургского. Послан тебе навстречу, княжна, дабы невредимой доставить ко двору моего господина». С трудом выговаривая эту абракадабру, он надеялся лишь, что сумеет отличить княжну от других женщин, коих, как он подозревал, в её свите было немало. Господь всемогущий! Разве мечтал он когда-либо о таком венце карьеры? Тащить через болота и кишачие лихими людьми леса целый обоз причитающих, визжащих, всё время норовящих отстать и заблудиться баб – такого, право, врагу не пожелаешь!

Где-то в стороне пронзительно и визгливо скрипнуло потревоженное ветром дерево. Ехавший по правую руку от капитана всадник заметно вздрогнул и нервно стиснул резной приклад колесцового мушкета.

– Спокойнее, Курт, – сказал ему Валленберг. – Это всего лишь старая сухая сосна. Боюсь, здесь нет ничего опаснее белок. Это путешествие понемногу становится скучным, ты не находишь?

Ландскнехт повернул к нему обветренное, обезображенное длинным извилистым шрамом горбоносое лицо.

– Тот старик на постоялом дворе рассказывал, что в здешних местах водится нечистая сила, – сказал он.

– И ты испугался бабьих сказок, придуманных грязными славянскими свиньями? – усмехнулся Валленберг. – Они темны, забиты и боятся даже собственной тени. Ха! Нечистая сила! Я скитаюсь по свету уже больше двадцати лет, и поверь, дружище, мне ни разу не встретила нечисть, которая не испустила бы дух, отведав моей шпаги!

– Вы везучий человек, капитан, – уклончиво ответил ни в чём не переубеждённый ландскнехт.

– Верить мне или нищему с постоялого двора – твоё дело, приятель, – посуровев, сказал Валленберг. – Если думаешь, что это тебе поможет, помолись. Я, так и быть, отвернусь на минутку. А больше, увы, я ничем не могу тебе помочь.

– Вряд ли Господь услышит мою молитву, – с сомнением заметил наёмник.

– Тем более не стоит вешать нос, – подбодрил его Валленберг. – Нечисть... Нашёл, кого бояться! У этих славян даже нечисть какая-то мелкая – домовые, лешие, кикиморы... То ли дело – тролль величиной с гору! Или огнедышащий дракон. А тот старый хрыч на постоялом дворе почти наверняка врал, рассказывая сказки, которые сам только что сочинил, дабы мы, свернув на указанную им тропу, угодили напрямик в лапы его сообщников. Бог свидетель, я был бы даже не прочь ещё разок позабавиться, насаживая их на вертел! – При этих словах обтянутая грязной и засаленной замшевой перчаткой ладонь капитана фон Валленберга многозначительно похлопала по эфесу шпаги. – Увы, нам не до развлечений. Время не терпит, не то я бы непременно последовал совету старого лазутчика и двинулся той дорогой, которую он указал. Здешние места после этого стали бы немного чище, а всем нам было бы не так скучно. Да и ты, дружище Курт, не так тряса бы при виде настоящего врага, как трясешься из страха столкнуться с врагом воображаемым...

Пристыженный Курт отвернулся, проворчав что-то сердитое, под смех своих товарищей, которые, как обычно, были рады случаю позубоскалить. Валленберг коротко взмахнул рукой, и смех оборвался, словно обрезанный ножом. Эта поездка чем дальше, тем больше представлялась делом пустяковым, наподобие увеселительной прогулки, однако капитан не мог позволить себе ослабить железную хватку, которой держал своих подчиненных. Командовать наёмниками нелегко; дисциплина их тяготит, умирать за хозяина они не желают (ибо мёртвому, как известно, деньги ни к чему), и держать их в узде можно лишь при помощи железной строгости да чувства воинского товарищества, которое заменяет солдату без роду-племени чувство долга и верности родине. Ландскнехты, коими имел сомнительную честь командовать капитан

Ульрих фон Валленберг, готовы были умереть, но не за хозяина, которому присягнули, а за своего командира и своих товарищей по оружию, ибо только такая готовность давала каждому из них хоть какой-то шанс уцелеть, дожить до старости и вернуться в родные края.

Солнце поднялось в зенит и начало мало-помалу клониться к западу. Разлинованная синеватыми тенями сосновых стволов, испятнанная ажурной тенью крон дорога, будто следуя его примеру, вскарабкалась на лесистый гребень холма и покатила под уклон, в заросшую густым кустарником болотистую низину, по дну которой, негромко журча, бежал ручей. Кони заржали, издали почуяв живительную прохладу струящейся в тенистых зарослях воды.

Кусты на дне оврага раздвинулись, из них показалась гнедая конская голова, а следом в поле зрения капитана Валленберга возник посланный им десять минут назад на разведку дозорный в начищенной до блеска кирасе и похожем на глубокий таз стальном шлеме. Громыкая железом, дозорный подскакал к капитану и доложил, что впереди всё спокойно, что дно в ручье не очень топкое и что вода в самом глубоком месте едва достигает конских бабок. Глядя поверх его плеча в густо заросшую кустарником и молодыми деревьями лощину, Валленберг заметил какой-то куст, цветущий пышным белым цветом. Над цветами с деловитым гудением вились пчелы. Картина была такая мирная и приятная глазу, что капитану невольно представился уютный каменный домик под красной черепичной крышей, увитый диким виноградом и утонувший в зарослях роз – его давнишняя мечта, которую он намеревался осуществить после возвращения из этого путешествия.

Отгнав сие сладостное, но, увы, неуместное в данный момент видение, фон Валленберг махнул рукой в перчатке своим людям и первым направил коня в лощину. С глухим топотом и металлическим лязгом отряд пришёл в движение и стал спускаться с холма, отдалённо напоминая железный ручей. Округлые шлемы и выпуклые нагрудные зеркала маслянисто поблескивали, острия пик вспыхивали на солнце острыми искрами; лоснились гладкие лошадиные крупы, а на конских чепраках и коротких плащах всадников переливался золотым шитьём родовой герб ландграфа Вюрцбургского.

На ближних подступах к ручью отряд был внезапно атакован звенящей тучей комаров, слепней и Бог весть какой ещё крылатой кровососущей мерзости. Лошади фыркали, хлестали себя хвостами по бокам и отчаянно мотали головами, звеня сбруей; всадникам тоже пришлось несладко, и звуки хлестких пощёчин и яростных проклятий гармонично вплетались в производимую движущейся сквозь комариную тучу кавалькадой какофонией. Лишь Ульрих фон Валленберг по-прежнему спокойно и расслабленно сидел в седле, словно назойливые кровососы досаждали ему не более чем могли бы досадить установленной на площади бронзовой конной статуе. Казалось, дублёная кожа капитана дворцовой гвардии нечувствительна к укусам. На деле это было, конечно же, не так; просто, привыкнув стойко сносить боль от полученных в сражениях ран, старый солдат считал ниже своего достоинства обращать внимание на булавоочные уколы комариных жал.

Дорога под копытами лошади превратилась в полосу влажной, вязкой, поросшей пучками болотной травы почвы. Ветви густо разросшихся кустов задевали лицо, с шорохом скребли по зеркалу доспехов и воронёным наплечникам, цеплялись за плащ, как недобрые, норовящие сдёрнуть всадника с седла руки. Здесь было сумрачно и промозгло, как в сыром погребе; это было одно из тех мест, откуда хочется поскорее убраться.

Копыта гнедого зачавкали по грязи. Из травы выпрыгнула и с коротким всплеском погрузилась в ручей потревоженная серая лягушка. Измученный жарой и комариными укусами конь жадно потянулся к воде. Валленберг железной рукой натянул поводья, задирая ему голову. В это самое мгновение крупный слепень, с жужжанием опустившись на конский храп, вонзил жало в бархатистую незащищённую кожу. Дико заржав, гнедой встал на дыбы, норовя сбросить седока, в коем не без оснований видел причину всех претерпеваемых ныне бедствий.

С губ капитана сорвалось громкое проклятье, и в то же мгновение, заглушив богохульный вопль Валленберга, из кустов на противоположной стороне ручья грянул ружейный залп. Гнедой содрогнулся всем телом, издал предсмертное ржание и боком рухнул в воду, подмяв под себя седока.

* * *

Дичи в лесу оказалось столько, что это заметил бы даже человек, куда менее сведущий в ремесле охотника, чем княжич Пётр, который был обучен сему тонкому искусству с младых ногтей и не единожды хаживал с рогатиной на медведя, не говоря уже о более мелком лесном зверье.

Без труда заметив и распознав признаки бурлящей в лесных дебрях жизни, княжич с несвойственной его возрасту рассудительностью решил сделать небольшую остановку. Вообще, спешить ему было некуда: оставленная на попечение старосты деревенька уже более двух лет худо-бедно жила без него, а стало быть, могла так же спокойно прожить лишний час, день, а может быть, и год. Никто не просиживал день-деньской у окошка, глядя на дорогу и с нетерпением ожидая его возвращения, и даже товарищи по порубежной государевой службе, вернее всего, уже давно не чаяли увидеть его живым. Княжич Пётр Басманов был свободен, как птица или вольный ветер. Когда первый восторг освобождения из плена немного остыл, а нетерпение, подгонявшее его вперёд, поближе к родным местам, пошло на убыль, он осознал это обстоятельство и начал находить в своём нынешнем положении неоспоримые преимущества. То было положение человека, который никому и ничем не обязан – положение, во все времена от сотворения мира являвшееся редкостным и трудно достижимым.

Конечно, он был обязан заботиться о своих крестьянах, спора нет; но, как уже было сказано, крестьяне прекрасно обходились без него уже более двух лет и могли подождать ещё немного.

Он был обязан служить государю, но государь, как и его холопы, недурно обходился без княжича Басманова на протяжении целого года и, верно, не свалился б с трона, даже если бы упомянутый княжич и вовсе не вернулся на службу. Никакой большой войны пока не предвиделось, а мелкими порубежными стычками Пётр Басманов был сыт по горло и наверняка знал, что уж они-то от него никуда не денутся – сколь ни проезди по чужим краям, а этого добра на твой век всё едино с лихвой достанет.

Ещё он был обязан пану Анджею Закревскому, коему обещался вернуть выкуп за свою свободу, но сие дело также могло подождать – пускай недолго, ибо пан Анджей отчаянно нуждался в деньгах, и скрыть этого не могла даже его старательно выставляемая напоказ шляхетская гордость, но всё-таки могло.

Более княжич Пётр ни перед кем из смертных не имел обязательств; Господу же, коего все мы от рождения и до смерти должны денно и нощно прославлять, можно молиться и в лесу, и в чистом поле, и в сыром склепе – словом, всюду, куда б ни занесла тебя судьба. Осенние холода были ещё далеко, так что спешить княжичу Петру и впрямь было некуда, и, уразумев сие, он перестал без толку торопить притомившегося коня и решил, пока суд да дело, позаботиться о пропитании.

Запасов, коими снабдил его, провожая в дальний путь, добросердечный пан Анджей, на всю дорогу хватить не могло. Да и свежее мясо, как ни кинь, вкуснее ржаного сухаря и вяленой рыбы; мяса же, как уже было сказано, в этом лесу бегало предостаточно, и его оставалось только добыть.

Посему, очутившись под сенью заповедных дубрав, княжич сделал большой привал, употребив это время на изготовление доброго лука. Пока придирчиво выбранная и срубленная верной саблей крепкая ветвь подсыхала над разведённым костерком, княжич со сноровкой

бывалого воина и охотника сплёл тетиву из волос, позаимствованных из хвоста гнедого. Гнедой был этим не слишком доволен, тем паче, что лошади мяса не едят, а стало быть, сия жертва представлялась ему бессмысленной, однако от него не ubyло, а ежели и ubyло, так не зело заметно.

За стрелами дело тоже не стало. Княжич призадумался было, чем бы их оперить, но тут ему повезло наткнуться на объединенную кем-то – не иначе, лисицей, а может статья, и иным мелким зверьком, – тушку птицы, бывшей некогда сорокою. Перьев, таким образом, ему хватило с лихвой; заострив и закалив над огнём концы стрел, княжич старательно их оперил и, пока не село солнце, отправился добывать себе пропитание.

Встреченного оленя он не тронул, ибо не чаял в одиночку умять его целиком и не хотел губить Божью тварь ради единственной, пускай и весьма обильной, трапезы. Сохранить мясо, коего, пожалуй, могло бы хватить до самой Москвы, он также не мог, а посему удовлетворился зайцем, что неосторожно выскочил из кустов в каком-нибудь десятке шагов от него и был немедля сбит метко пушенной стрелой.

Пока княжич разделявал добычу, раздувал погасший костёр и готовил ужин, день почти догорел. В лесу быстро темнело, и о том, чтобы продолжить путь, не могло быть и речи. Перекусив, чем Бог послал, и запив не слишком обильную трапезу водой из притороченной к седлу кожаной баклаги, княжич помолился Богу и устроился на ночлег, по обыкновению положив под голову седло и завернувшись в плащ. Крупные летние звёзды смотрели на него сквозь колышущийся полог ветвей; глядя на эти неугасимые Божьи лампы, Пётр Басманов уснул легко и беззаботно, как человек, чьё тело молодо и здорово, совесть чиста, желудок полон, а душа не обременена тяжким грузом грехов и невыполненных обязательств.

Его разбудил утренний холодок и перекличка лесных птах, что звонко пробовали голоса, готовясь встретить восход солнца. Зевнув и с наслаждением потянувшись всем телом, княжич легко поднялся со своего спартанского ложа, раздул угли, разогрел на них оставшуюся от вчерашнего ужина зайчатину, без спешки перекусил, а после, засыпав костёр землёю и оседлав гнедого, тронулся в путь.

Ближе к полудню его внимание привлекли отпечатавшиеся на твердой земле заросшей травами лесной дороги следы лошадиных подков. Отпечатков было великое множество; они шли густо, перекрывая друг друга и никуда не сворачивая с дороги, из чего следовало, что тут проехал не одинокий всадник и не охотничья кавалькада, которая непременно рыскала бы по лесу в поисках добычи, а военный отряд десятка в два, а может быть, и в три сабель. Отпечатки подков были глубоки; сравнив их с отпечатками своего гнедого, княжич пришёл к выводу, что всадники были тяжело вооружены – если только, конечно, не ехали по двое на одной лошади.

Глядя на следы, коими была густо испещрена заброшенная лесная дорога, княжич Пётр призадумался. Следы вели в сторону русской границы, до которой осталось не более одного дневного перехода. Следы вооруженного отряда, ведущие от центра польского королевства к русским пределам, могли означать только одно: поляки затеяли очередной разбойничий набег. Не войну, ибо в таком случае следов было бы много больше, и не только лошадиных, а вот именно короткий разорительный набег. Двадцать-тридцать сабель – не войско, но, незаметно пробравшись на чужую территорию, такой летучий отряд может натворить немало бед. Не один десяток изб займётся пламенем, и немало вдов и сирот останется в спалённых дотла деревеньках после такого набега. В порубежных лесах опять забелеют кости предательски подстреленных из засады ертоульных, и опять, вернувшись из похода, разбойники в расшитых награбленным золотом кунтушах будут пить вино и во хмелю с хохотом похваляться друг перед другом своей воровской доблестью.

Кровь вскипела у него в жилах, заставив в единый миг позабыть о недавних рассуждениях по поводу вольного ветра, который никому ничего не должен и ничем никому не обязан.

Княжич Басманов, в свои молодые годы уже ставший настоящим ветераном порубежных схваток, вспомнил о главном своем долге: лечь костями, но не пропустить врага на родную землю.

Заставив себя успокоиться, дабы в горячке не наделать лиха, княжич наострил уши и двинулся по следу конного отряда, благо тот направлялся как раз туда, куда ему самому было надобно.

Солнце поднималось всё выше, становилось по-настоящему жарко. Кроны деревьев монотонно шумели под ровным верховым ветром, но внизу не было ни дуновения, и напоенный ароматами живицы, хвои и можжевельника воздух был неподвижным, горячим и казался густым, как смола. Мелкая мошкара так и липла к вспотевшему лицу; проезжая через густой орешник, княжич сломил ветку и обмахивался ею, как опахалом, отгоняя надоедливых мошек.

Вскоре после полудня ему снова пришлось сделать остановку. Справа, выныривая из молодого ельника, в дорогу, как ручей в полноводную реку, впадала неприметная тропа, так же, как и сама дорога, густо истоптанная лошадиными подковами. Тут княжич спешился и, присев на корточки, внимательно осмотрел землю.

Подковы лошадей, что шли по дороге, явно были выкованы в одной кузнице и, пожалуй, одним и тем же кузнецом. Следы на тропе, что терялась в молодом ельнике, также были одинаковы меж собой, заметно отличаясь от следов на дороге. Не имея иных сведений о противнике, опричь этих следов, княжич пришёл к выводу, что на этом месте встретились и объединились два отряда, посланных соседями-помещиками для совместного набега на русские порубежные земли. Единообразие подков говорило о том, что лошади были взяты из одной конюшни – вернее, из двух, поелику отрядов было два. Лошадей же в каждом отряде было не менее двух десятков, а стало быть, принадлежали они богатым шляхтичам – к примеру, хоть бы и тому же графу Вислоцкому, о коем княжич Пётр за год плена наслышался предостаточно. Сей именитый лиходей обитал в родовом замке неподалеку от имения пана Анджея Закревского и регулярно промышлял набегами на русские земли, ибо собрать необходимое для того количество вооружённых всадников для него, богатого вельможи, не составляло никакого труда. Ему, в отличие от менее зажиточных соседей, не надо было ни с кем сговариваться и спорить из-за доли в добыче – он мог просто отдать короткий приказ, и уже через час сотня, если не две, вооружённых до зубов верховых была готова тронуться в путь.

Всё это княжич сообразил в мгновение ока, едва взглянув на следы двух слившихся воедино отрядов, и даже не столько сообразил, сколько просто увидел опытным глазом бывалого порубежника. Понял он также и то, что ему надобно делать. Задача перед ним стояла хоть и незатейливая, однако вместе с тем непростая: ему следовало торопиться изо всех сил, дабы обогнать замысливших недоброе поляков и предупредить своих о готовящемся набеге. К границе двигался отряд, насчитывающий около полусотни сабель; будучи вовремя предупрежденными, русские порубежники могли дать лиходеям достойный отпор. В противном же случае, уничтожая встречающиеся по пути разъезды русских ертоульных, поляки могли долго бесчинствовать в приграничных землях, и ловить их там было бы то же самое, что гоняться за ветром в поле.

Княжич бросил последний взгляд на так много рассказавшие ему следы. Вывороченная подковами земля ещё не до конца просохла; сие означало, что всадники проехали здесь не так давно – никак не более часа назад. Как по расстоянию между следами, так и из общих соображений было ясно, что ехали они не спеша, шагом – берегли силы лошадей, которые вскоре должны были понадобиться для лихого дела.

– Прости, друже, – негромко обратился княжич к коню, садясь в седло, и ожёг его плетью.

Конь прынул с места. Княжич скакал, пригнувшись к конской гриве даже ниже, чем надобно – сук, ставший причиной долгого плена, помнился ему так живо, словно это было накануне, а не год назад. Быстрая езда принесла ему некоторое облегчение: ветерок от движе-

ния оведал разгорячённое лицо, да и назойливая мошкара теперь не могла за ним угнаться, лишь изредка ударяясь в щёки и лоб.

Вылетев на макушку поросшего сосновым лесом песчаного холма, княжич натянул поводья, заставив коня вздыбиться и затанцевать на месте. Эхо нестройного ружейного залпа ещё блуждало меж рыжих сосновых стволов, а княжич уже спрыгнул с седла, обеими руками зажав гнедому морду, дабы тот не выдал ржанием своего присутствия.

Внизу, в заросшей густым орешником и ольхой лощине, всё ещё слышались гулкие одиночные выстрелы. Над чащей зелёных ветвей, стелясь подобно утреннему туману, рваными ключьями плыл пороховой дым. Ветви ходили ходуном, как будто в зарослях резвилось целое стадо лосей или диких кабанов, ветерок доносил до княжича знакомый уху всякого воина лязг железа, крики раненых и яростную брань сражающихся.

Бросив коня, ржание которого ныне вряд ли могло привлечь чьё-либо внимание, с саблей наголо в одной руке и с подаренным паном Анджеем пистолем в другой, княжич скрытно стал спускаться с холма туда, где, судя по звукам, кипела кровопролитная схватка. Чем ближе он подходил, тем сильнее становилось его удивление, ибо среди доносившихся из кустов, уже ставших привычными «пся крэв» и «холера ясна» ухо его стало различать всевозможные «дон-нерветтер», «дер тейфель» и «о, майн Готт!». Не будучи зело сведущим в иноземных наречиях, княжич, тем не менее, без труда отличил немецкую брань от польской и искренне изумился: откуда, в самом деле, тут было взяться целому отряду вооруженных аломанцев? Ведь для того, чтобы ввязаться в эту кровавую драку, им прежде надобно было проехать едва не всю Речь Посполиту!

Раздумья пришлось оставить до более подходящего времени, когда из кустов прямо на него вдруг вывернулся и замахнулся саблей какой-то человек – судя по чёрному кунтушу, лихо заломленной шапке и длинным пшеничным усам, поляк. Уклонившись от свистящего косога удара, княжич ткнул противника саблей в живот, от души понадеявшись, что под кунтушом нет кольчуги, а если и есть, то она не слишком прочна. Кольчуги не оказалось; поляк охнул, выронил саблю и умер раньше, чем его тело коснулось сырой земли. Не желая ввязываться в чужую драку, никто из участников которой не вызывал у него даже тени симпатии, княжич пригнулся и весьма благоразумно нырнул в кусты, сразу же споткнувшись о тело какого-то человека в железном нагруднике и похожем на глубокий таз стальном шлеме. Запутавшийся в ольховых ветках короткий синий плащ был украшен каким-то замысловатым гербом; княжич был не силен в иноземной геральдике, но и без герба было видно, что перед ним немец. Стальной шлем и высокий, до подбородка кольчужный воротник его не спасли: чья-то меткая пуля попала ему в переносицу, оставив точно между глаз отверстие, в которое при желании можно было без труда засунуть палец. Над этой окровавленной дырой уже кружили мухи; рука в заскорузлой от пота и грязи кожаной перчатке с широким раструбом сжимала прямую широкую шпагу с чистым, не запятнанным кровью лезвием.

Стрельба уже прекратилась, уступив место леденящим душу звукам сабельной рубки: лязгу металла о металл, ржанию лошадей, людским крикам и стонам, а также отвратительному тупому стуку и мокрому хрусту, с коими отточенное до бритвенной остроты тяжёлое железо впивалось в живую плоть, рассекая её и дробя кости.

Осторожно раздвинув ветки, княжич увидел ручей, посреди которого кипела кровавая сеча. Мигом оценив обстановку, он смекнул, как было дело: отряд немецких кнехтов, одетых в одинаковые синие плащи с гербами, по всему видать, угодил в отлично задуманную и тщательно подготовленную засаду. Немцев взяли в клещи с двух сторон, заперев в болотистой, топкой низине, где их тяжело нагруженные кони не могли свободно передвигаться. Добрую половину отряда, похоже, выкосил тот первый залп, который заставил княжича остановить коня и спешиться; стрелы из луков и толстые арбалетные болты ещё более склонили чашу весов на сторону нападавших.

Ручей был запружен людскими и конскими телами; иные кони ещё отчаянно бились, пытались подняться на ноги; княжич видел всадников, что, захлебываясь перемешанной с кровью водой, тщились выбраться из-под придавивших их конских трупов и гibli, когда набежавший поляк наносил жалящий сабельный удар. Розовые от крови брызги воды летели во все стороны из-под лошадиных копыт, сабли молниями сверкали в воздухе, рассекая его с шелестящим свистом. Немногие оставшиеся в живых немцы гibli один за другим, не прося пощады, ибо даже княжичу Петру было ясно, что пощады не будет никому. Вот ещё один кнехт, сбитый с седла ударом кистеня, пришедшимся прямо в лицо, рухнул спиной в воду, взметнув целый фонтан брызг. Смуглый горбоносый аломанец с извилистым шрамом через все лицо, потеряв шпагу, оседлал врага и пытался утопить его в мелкой воде, обеими руками сжимая ему горло. Проезжавший мимо всадник взмахнул саблей, и горбоносый с залитым кровью лицом завалился набок. Освобожденный от его мертвой хватки поляк всплыл и закачался на поднятых ногами дерущихся беспорядочных волнах, широко раскинув мертвые руки и ноги.

Дело явно близилось к концу. Поляки уже добивали немногочисленных раненых; поляков было много, повсюду мелькали их чёрные, с чёрными же шнурами кунтуши и заправленные в высокие мягкие сапоги тёмно-синие штаны. Княжич Пётр вспомнил, что рассказывали ему о графе Вислоцком пан Анджей и его вспыльчивый сын Станислав. Помимо всего иного, они говорили о несметном богатстве графа, кое позволяло ему, едва ли не одному на всю округу, рядить свою стражу в форменное чёрно-синее платье, как будто то была не стража, а настоящее войско, наподобие стрельцов царя Иоанна Васильевича.

Княжич стал считать и насчитал два десятка и ещё трёх чёрно-синих воинов; ещё семеро, считая того, что был зарезан княжичем, остались лежать в кустах и в ручье, что неугомонно тербил их, будто пытаясь разбудить уснувших. Немцы, числом около двух десятков, были перебиты почти поголовно. На ногах остался только один из них – богатырского сложения здоровяк с длинными соломенными волосами и бритым кирпично-красным лицом, по которому, смешиваясь, стекали кровь и вода. Воронёные доспехи гиганта были покрыты рубцами и вмятинами, шлем потерялся, волосы были в крови, что указывало на полученную рану, но одинокий боец не сдавался: костеря врагов на чём свет стоит самыми чёрными словами, он с завидной ловкостью орудовал сразу двумя шпагами, не давая никому к себе приблизиться. Какой-то храбрец, увернувшись от мелькающего подобно крыльям стрекозы железа, прорвался через его защиту, норовя ударить широким, как лопата, обоюдоострым лезвием в живот. Не имея возможности ни рубануть, ни уколоть противника шпагой, гигант нанёс ему сокрушительный удар гардой. Даже сквозь шум сражения княжич расслышал хруст, с которым переломился расплюснутый страшным ударом нос; поляк издал отчаянный вопль и, охватив ладонями залитое кровью лицо, с плеском опрокинулся навзничь.

Гигант в воронёных латах поймал пробежавшего мимо коня и с неожиданным при его комплекции проворством взлетел в седло. Набевший смельчак упал, охватив руками разрубленную голову; на прощанье обозвав противников польскими свиньями (что-что, а как будет по-немецки «свинья», княжич знал, ибо не единожды слышал это слово от аломанских купцов на рынке в городке, близ коего располагалось имение пана Анджея), хлестнул коня вместо плети шпагой и был таков раньше, чем целивший в него из пищали поляк успел спустить курок. Выстрел громыхнул вхолостую; брызнули сбитые пулей листья, упала подрезанная ветка, над водой поплыл голубоватый дымок, и наступила тишина, нарушаемая лишь плеском ручья, удаляющимся топотом копыт да стонами раненых поляков.

Княжич попятился было, решив, что смотреть ему здесь более не на что и что надобно тихонько возвращаться к коню и убираться подобру-поздорову, пока его не обнаружили, но тут предводитель поляков – тот самый черноусый красавец в отличном от иных, явно дворянском платье, что стрелял вслед уцелевшему немцу, – вдруг отдал своим людям странный приказ, коего Басманов никак не ожидал.

Те, кто ещё сидел верхом, спешились и зачем-то принялись обдирать с убитых кнехтов доспехи, оружие и плащи.

Увидев, как победители цепляют на себя снятые с трупов нагрудные зеркала и, вылив воду из шлемов, без стеснения надевают оные себе на головы, княжич Пётр мысленно присвистнул, попятился и наконец-то убрался прочь от места, где явно не к добру затевался какой-то жуткий маскарад.

Глава 4

В предвечерних синих сумерках, кои в лесной чаще были куда гуще и темнее, нежели в чистом поле, начальник стражи сбился с пути, заплутал и свернул с большака на малоезжую, едва видневшуюся в густой траве дорогу, которая, выведя обоз на небольшую круглую полянку, окончательно растворилась в траве и исчезла. Объехав поляну и своими глазами убедившись, что вместо дороги со всех сторон сплошной стеной стоит густой еловый лес, даже такой гордец и упрямец, каким был десятский Василий Иванов сын Агеев, недаром прозванный Быком, был вынужден признать, что сплеховал.

– Прости, кормилица, – спешившись и подойдя к окошку возка, обратился он к княжне Басмановой. – Заплутали мы. Не иначе, леший попутал. Не миновать нам в лесу ночевать. Поутру, как рассветёт, авось сыщем дорогу-то.

– Леший попутал, – неприязненно проворчал с козел возница по имени Андрей, степенный мужик пятидесяти лет отроду. – Сказано было, не надоть с большака повёртывать, а ты всё «короче, короче»... Вот, стало быть, и заехали, куда Макар телят не гонял.

– Цыц, смерд! – прикрикнул на него десятский. – Укороти-ка язык, не то я тебе его сам укорочу!

– Ну, а то как же, – даже не подумав испугаться, проворчал Андрей. – Дорогу-то ты уж укоротил, ныне самое время за мой язык взяться. Боле-то тебе, чай, заняться нечем...

– Да я тебя... – наливаясь тёмной кровью, начал Бык, но его остановил прозвеневший из темной глубины обитого телячьей кожей возка строгий голос княжны:

– Будет вам! Будет, кому сказано! Сколь вы ни лайтеесь, дорога сама от вашей брани не сыщется. Да и вечереет уже, всё едино ночевать надобно. Тут и остановимся.

Склонившись в поклоне, десятский Васька Бык подумал, что яблочко от яблоньки недалеко падает. Ишь, как повернула! Её послушать, так получится, будто она только что решение приняла и своею волей повелела остановиться на ночлег именно тут, на этой вот поляне, а не в ином каком-либо месте. Будто ведомо ей, как до того «иногo» места добраться, как из глуши этой, из дебрей диких, вспять на большую дорогу выбиться... Одно слово – князя Андрей Иваныча кровь! Даже голосок ни разочка единого не дрогнул, хотя девице княжеского рода, в такое место угодив, полагалось бы до смерти перепугаться...

Возница Андрей уже ковырялся в упряжи, выпрягая из оглобель пару вороных. Подле обозных телег, не дожидаясь приказа, суетилась дворня: выпрягали, снимали с воза походный шатёр, искали погребец с припасами, торопясь разбить лагерь и устроить княжну на ночлег засветло. Кто-то из посланного для охраны княжны десятка уже ворочался в лесу, как медведь, треща в темноте хворостом и негромко, дабы не услышала Ольга Андреевна, костеря сквозь зубы проклятушую темень, колючий ельник и сучки, которых какой-то хромой бес понатыкал аккуратно супротив глаз для вернейшего погубления православных душ.

Вскоре посреди поляны ярко вспыхнул костёр, разогнав темноту в стороны и согрев своим живительным теплом уже начавшую мёрзнуть в легком летнем наряде княжну. Подле костра воздвигся белый полотняный шатёр, в коем при свете сальных свечей горничная и мамка готовили молодой хозяйке постель. Вослед первому загорелся второй костёр, и стражник Иван Лопата, игравший в сём славном походе незавидную роль кухарки, принялся кашеварить, что-то ворча и приговаривая в густую и широкую, истинно как лопата, чёрную цыганскую бороду.

Присев у огня на принесённый с одной из телег низкий резной стульчик, княжна Ольга подпёрла рукою щеку и стала смотреть, как вьются над костром, бесследно исчезая в чёрном ночном небе, живые рыжие искры. Тревога и горечь расставания с отчим домом, боязнь неизведанной будущности, боль разлуки со всем, что было ей знакомо и мило, – все это изрядно при-

тупилось за время пути. В дороге княжна обрела если не покой, то хотя бы видимость покоя; она привыкла к неспешному, скрипучему и тряскому движению меж зеленеющих полей и перелесков, ибо человеку свойственно рано или поздно привыкать ко всему, и ныне это неторопливое перемещение по пыльным дорогам, среди деревень с их соломенными кровлями и ветхими деревянными церквушками, белокаменных, с золочеными куполами монастырей, синих озёр и небыстрых, с зеленоватой водою, равнинных речек в травянистых берегах, представлялось ей вполне приемлемым, а может быть, даже и самым приятным способом существования – без забот, хлопот и особенных тягот, с картинками за окном возка, медленно сменяющимися друг друга и никогда не повторяющимися...

Минувшее было отрезано от неё, отсечено, словно ударом острой сабли, твёрдым решением отца; будущность немного страшила – Бог весть, как оно всё сложится на новом месте, с чужими, незнакомыми людьми, – и с еще большим удовольствием княжна предавалась скромным, неброским радостям дальней дороги.

Случившаяся в пути непредвиденная задержка княжну Ольгу нисколечко не опечалила. Торопиться ей было некуда, и оплошность Васьки Быка, который по недомыслию своему завёл их всех в эту глухомань, для княжны представлялась скорее благом, ибо позволяла продлить ставшее привычным, а оттого милым сердцу, путешествие.

В темноте топотали, неловко, прыжками передвигаясь на спутанных ногах, стреноженные кони; негромко покрикивал, расставляя на ночь караулы, провинившийся и оттого ещё более чем всегда задиристый и ершистый Бык. От костра, где кашеварил угрюмый Иван Лопата, тянуло вкусным запахом наваристой похлёбки. Пожилая мамка принесла и заботливо накинула княжне на плечи тёплый пуховый платок; горничная девка, переняв у неуклюжего Лопаты, подала расписную деревянную доску, на коей стояла миска с дымящейся похлебкой и лежал ломоть хлеба. Княжна отведала, обернулась и, отыскав взглядом Ивана Лопату, ласково ему улыбнулась: похлёбка и впрямь была хороша, а на свежем воздухе, после долгого, полного новых впечатлений дня, казалась вкуснее всего, что княжна едала до сих пор.

Польщённый Лопата, ворча и отмахиваясь от самых прытких увесистым черпаком, принялся кормить остальных. У костра, где вперемежку со стражниками разместились обозные мужики, стоял весёлый гомон. То и дело с той стороны долетало, касаясь слуха княжны, крепкое, солёное словцо, и тогда мамка Никитична, всякий раз плюнув через плечо, сердитым голосом ругала разгулявшихся сверх меры мужиков.

Впрочем, никакой особенной гулянки подле костра не было: князь Андрей Иванович строго-настрою заказал своим людям бражничать в дороге, пока не передадут княжну с рук на руки жениху, и Васька Бык, верный, как цепной пёс, и, как пёс же, не склонный к рассуждениям, строго следил за неукоснительным соблюдением сего запрета. Вечеряли поэтому всухомятку, и веселья настоящего не получилось, так что спать мужики улеглись, утешая себя тем, что наверстают упущенное, когда доведут княжну до условленного места, и наложенный князем запрет, который радением Быка обрёл силу истинного чернокнижного заклятья, наконец-то потеряет силу.

По мере того как горячее хлебово в деревянных мисках иссякало, а усталость и наступившая сытость брали своё, шум на поляне стал утихать. Кто-то уже спал, выставив из-под телеги ноги и оглашая лес залившимся богатырским храпом. Чернявый Лопата, присев на корточки у огня, где светлее, оттирал пучком травы опустевший котёл. Десятский Васька Бык, сидя на возу, предавался излюбленному занятию – точил саблю, что-то негромко и не зело мелодично напевая себе под нос. Мамка Никитична уже трижды подходила к княжне, уговаривая лечь; спать княжне не хотелось, и, видя, что старая мамка едва держится на ногах от усталости, Ольга Андреевна велела ей ложиться самой. Никитична удалилась, ворча, зевая и крестя рот; малое время спустя пришёл, шурша по траве сапогами, сонный стражник с охапкой собранного в потёмках хвороста. Получив новую порцию пищи, огонь весело затрещал,

взметнулся к тёмному небу, и на краю поляны ненадолго показалась выхваченная из темноты фигура караульного с копьём в отставленной руке.

Княжна сидела, помешивая хворостинкой ярко рдеющие угли, глядела на огонь и ни о чём особенном не думала. Дорожные картинки медленно проплывали перед её внутренним взором, сменяя друг друга не в том порядке, как это происходило днём, а в зависимости от того, насколько ярким и запоминающимся было впечатление. Спать не хотелось совсем, но Ольга Андреевна понимала, что надобно ложиться, чтобы не проспять половину завтрашнего дня. Наконец, она решилась внять голосу рассудка и отправиться на покой: быть может, сон одолеет её, едва она ляжет, как это бывало уже не единожды. А если нет, у неё останется её любимое занятие, коему она предавалась с тем же постоянством, с каким Васька Бык ежевечерне точил свою саблю: улегшись в постель и оставшись наедине с собою, она станет по одному, как драгоценности в ларце, бережно перебирать воспоминания, связанные с домом, отцом и старшим братом, ныне, увы, уже покойным.

Княжна ощутила смутную печаль. Надёжно запертые на протяжении всего дня воспоминания требовательно запросились на волю; она будто слегка приоткрыла крышку ларца, в коем они хранились, и было ясно, что уснуть не получится, покуда она не согреет каждую из лежащих в этом ларце жемчужин теплом своих ладоней.

Княжна поднялась, спеша удалиться в шатёр раньше, чем кто-либо из спутников увидит на её щеках слёзы, и тут в нарушаемой только потрескиваньем костра да криками ночных птиц тишине громко прозвучал показавшийся Ольге Андреевне испуганным голос караульного:

– А ну, стой! Куды прёшь? Стой, кому сказано?!

Из темноты беззвучно выступила и остановилась на границе отбрасываемого огнем зыбкого светового круга кражистая, как комель старого дуба, косматая фигура, при виде которой оцепеневшей от испуга княжне почему-то вспомнился языческий бог смерти Карачун.

* * *

Незадолго до того, как княжну Басманову напугало неожиданное появление близ её временного лагеря странного, чтобы не сказать страшного незнакомца, на узкой звериной тропке, что, прихотливо извиваясь, проходила недалеко от поляны, встретились два человека.

Одному из них на вид был около сорока, может быть, сорока пяти лет, хотя на самом деле ему совсем недавно сровнялось тридцать. Коптящий смоляной факел, который он держал в левой руке, освещал заросшее косматой бородою широкое кирпично-красное лицо и расхристанную на волосатой, выпуклой, как наковальня, груди ветхую рубаху, в вырезе которой тускло поблескивал медный крестик на засаленном шнурке. Человек был коренаст и крепок; наполовину истлевшую от грязи и пота рубаху перехватывал широкий кожаный пояс, за который был засунут любовно отточенный топор с лоснящимся, захватанным руками топорщиком. Через плечо была перекинута разлохмаченная верёвка, в петлю которой была продета висевшая на боку побитая ржавчиной сабля без ножен. Шапка на человеке была худая и рваная, зато сапоги, коих почти не достигал красноватый свет факела, пришлись бы впору хоть боярину, хоть князю – красные, сафьяновые, с серебряными подковками, они были великоваты своему владельцу, каковое неудобство устранялось при помощи дополнительной портянки. Словом, человек этот выглядел обыкновенным разбойником, и неудивительно: разбойником он и был, причем уже давненько, и малопочтенное сие ремесло естественным порядком наложило неизгладимую печать на его облик.

Второй был старше лет на десять с хвостиком, а выглядел и вовсе стариком – до тех пор, по крайней мере, пока внимательному наблюдателю не бросалась в глаза недурно замаскированная мешковатой драпой рубахой, некоторой сутуlostью и, в особенности, длинной и взлохмаченной бородищей мощь богатырской фигуры, над коей оказались не властны ни годы, ни

тяжкий труд, ни пережитые лишения. Лицо его пересекал длинный, неправильно сросшийся и оттого уродливый шрам, проходивший прямоком через глаз, так что оставалось только гадать, как это обладатель сего украшения в своё время ухитрился не окриветь. Лохмотья, заменявшие ему рубаху, были перепоясаны куском сплетённой из лыка верёвки; поверх рубахи было надето что-то вроде меховой безрукавки, за поясом торчал большой нож в меховых же ножнах, с рукояткой из лосиного рога. Несмотря на дикую лесную наружность, на разбойника он не походил – для такого сходства ему чего-то недоставало не то в лице, хотя и достаточно безобразном, но словно озарённом каким-то внутренним светом, не то в том, как он разговаривал. Внешность его наводила на мысли не о разбое, а почему-то о нечистой силе, обитавшей в здешних лесах с полузабытых языческих времен – леших, кикиморах, водяных, аукалках.

– Я тебе, Медведь, в третий раз говорю и боле повторять не стану: не замай, – негромко, но с большою внутренней силой втолковывал он человеку с факелом. – Грехов на тебе и без того немало, так что ныне можно и воздержаться.

– Давно ль ты ко мне в духовники-то записался? – Голос Медведя звучал насмешливо, но глаза поблескивали из-под косматых бровей насторожённо и даже боязливо, словно собеседник вызывал у него какие-то опасения. – Ишь, чего удумал – воздержаться! Я бы, может, и воздержался, да уж больно кус лакомый!

– На чужой каравай рот не разевай, – наставительно сказал ему старший. – Сей кус тебе не по зубам. Верно тебе говорю: даже думать забудь, не то после пожалеешь горько.

Последние зубы свои об тот кус обломаешь, да и околеешь, как пёс, без покаяния.

Разбойник фыркнул, переложил факел в другую руку и независимо подбоченился, картинно отставив в сторону ногу в красном сафьяновом сапоге.

– Да что тебе в том обозе? – спросил он, и по голосу чувствовалось, что терпение его на исходе. – Нешто знакомые у тебя там али родня? Так ты укажи, кого трогать не надобно, мы и не тронем. Ну, ежели, конечно, знакомец твой сам на рожон не полезет. Тогда уж не обессудь – не я, он сам в своей смерти повинен будет.

– Людей сих ты и пальцем не тронешь, – упрямо и спокойно, будто речь шла о чём-то вполне обыденном, гнул своё старик. – Достанет на твой век обозов – и купеческих, и царских, и иных прочих. Мы с тобой, Медведь, уж который год мирно бок о бок живём. Терплю я тебя, жалею, ибо ты есть человек, боярином злым обиженный и немало бед в своей жизни претерпевший. Однако ж и ты моего терпения не испытывай. Сказано тебе: нельзя, – стало быть, нельзя.

– Да отчего нельзя-то?! – окончательно потеряв терпение, воскликнул разбойник. – Что ты долбишь, яко дятел: нельзя, нельзя?.. ещё и стращать меня удумал!

– Нельзя – значит, нельзя, – спокойно повторил старик. – Видение мне было. И не стращаю я тебя, дурака, а упреждаю по-доброму: не буди лихо, пока оно тихо.

Медведь криво ухмыльнулся и пошевелил губами, словно намереваясь плюнуть под ноги, но плевать почему-то не стал.

– Видение, – насмешливо протянул он. – Нешто ты и впрямь думаешь, что я в эти бабы сказки поверю? Тоже мне, пророк выискался! Ты рожу-то свою видал, праведник святой? Даром, что ли, тебя Лешим кличут?

– То-то, что даром, – согласился Леший. – Вот и призадумайся, детинушка, отчего это народ мне такое прозвище прилепил. Ведомо мне, что в бабы сказки ты не веришь, а веришь токмо в железо, кровь да золото, разбоем добытое. Ну и верь себе. Ибо сказано: да воздастся каждому по вере его. Ведай токмо, что, на сей обоз налетев, золота ты не получишь, а вот железа и крови обретёшь столько, сколько и в страшном сне не видывал. Не сносить тебе головы, Медведь, ежели ты этих людей хоть пальцем тронешь.

– Грозишь? – нахмурился разбойник. – Гляди, Леший! Ты-то, чай, тоже не из железа сделан. Не ровён час, пырнет кто ножичком – каково тебе покажется проповедовать с дырявым-то брюхом?

– А ништо, – сказал Леший. – Мне, поди-ка, не впервой. Не ты первый, не ты, мнится, и последний, кому сия сумасбродная мысль в голову пришла. Гляди-ка!

С этими словами он неожиданно задрал подол рубахи, оголив впалый живот. На животе этом, прямо под грудиной, виднелся страшный шрам, наводивший на мысль об ударе не ножом или даже мечом, а, пожалуй, хорошо отточенной лопатой.

– Гляди, – повторил Леший, – гляди хорошенько. Не пробил ещё мой час, нужен я, видать, зачем-то Господу. Тот, кто сие сделал, давно уж в пекле на самой большой сковородке жарится, а я, вишь, по сию пору землю топчу, хоть и не в радость мне то. Посему, коль есть охота, попытай счастья.

Опустив факел пониже, Медведь склонился и внимательно осмотрел шрам. Когда он снова выпрямился, даже при неверных, пляшущих отблесках горящего на конце кривой сосновой дубины чадного огня стало видно, как побледнело его кирпично-красное лицо.

– Заговорённый, – крестясь свободной рукой и даже не заметив, что рука эта левая, пробормотал разбойник. – Как есть, заговорённый!

– Почто – заговорённый? – снисходительно усмехаясь, сказал Леший. – Надобно ль лешего от железа вострого да стрел калёных заговаривать? Не напрасно ведь я тебе говорил: подумай, еловая твоя голова, откуда у меня такое прозвище! А может, то и не прозвище вовсе? А? Про то, небось, не думал?

Медведь отшатнулся.

– Сгинь, пропади, нечистая сила! – испуганно воскликнул он, крестя Лешего большим крестным знаменем.

– А сказывал, в бабьи сказки не веришь, – усмехнулся Леший, который, натурально, даже и не думал куда-то пропадать. – Да не трясись, пошутил я. А кабы не пошутил, так толку от твоего крестного знаменья всё едино, как от козла молока. Нешто станет Господь тебе, душегубу, пособлять? Гляди, Медведь! Ты в моем лесу гуляешь, покуда я на твое озорство сквозь пальцы гляжу. А как надоест – прихлопну, яко комара, и духу твоего не останется.

– Нешто воевать со мной надумал? – кривя рот, спросил Медведь. Он хорохорился, но вид у него был испуганный, и голос предательски подрагивал.

– Не я – ты на рожон лезешь, – возразил Леший. – Добром ведь просил: не трогай ты этих людей, дай им своей дорогой идти. Нешто ты с голоду помрёшь, ежели тот обоз не заграбастаешь? Глянь, рожу-то отъел на вольных хлебах такую, что в три дня не заплюешь! Алчность сие, а алчность суть грех великий, за который наказание положено – одному в загробной жизни, а иному и прямо тут, в скорбной земной юдоли, это уж кому как повезёт. Не кличь ты беду, охолонь. Вспомни лучше, кто тебя, полумертвого, выходил, когда ты от лихорадки чуть Богу душу не отдал? Кто ватажников твоих, битых да рваных, мало не по кускам собирал, когда на них княжеская охота набежала? И брага моя вам, лиходеям, по нутру да по сердцу... А ты подумай, что выйти может, ежели в ту брагу ненароком, по недосмотру аль иным каким путем какая-нибудь не та травка угодит?

– Дался тебе этот обоз, – сдаваясь, проворчал Медведь.

– Дался, не дался – сие не твоя забота, а дело Господа Бога и моё, – отрезал Леший. – Говорю же, видение мне было.

Разбойник вздохнул и без видимой нужды оправил свободной рукой широкий пояс, на мгновение коснувшись гладкого обуха засунутого за него топора.

– Ну, видение так видение, – сказал он уже без раздражения, вполне миролюбиво. – Я в таких делах и впрямь ни бельмеса не разумею, а посему и судить о том не могу. Будь по-твоему, Леший. Ты нам не единожды помогал, так отчего б мне ныне тебя не уважить? Пушай

идут своей дорогой. Твоя правда: на мой век добычи достанет. Одним обозом больше, одним меньше – от меня не убудет.

– Вот и правильно, – похвалил его Леший. – Я всем про тебя так и говорю: Медведь, мол, настоящий атаман, поелику главная сила у него не в руках, а в голове запрятана. У кого голова светлая есть, тому и руки не надобны – он и без них хлеб свой насущный добудет. А у кого промеж ушей ветер свищет, тому силушка богатырская не подспорье, а одна помеха, от коей, того и гляди, беды не оберёшься. Ну, коли договорились мы с тобою, ступай себе с Богом.

– А ты? – подозрительно спросил Медведь, который и впрямь был неглуп и оттого не торопился принять похвалы Лешего за чистую монету.

– А я пойду, погляжу поближе, что за обозники такие в нашем лесу объявились, – сообщил Леший. – Мнится, заблудились они. Надо бы добрых людей от греха подальше на большак вывести, а то как бы беды какой не стряслось.

Под пронизательным взглядом Лешего Медведь, у которого и впрямь были кое-какие задние мысли на сей счёт, отвел глаза и насупился.

– Ступай, – уже не так ласково повторил Леший.

Медведь неловко дёрнул головой – не то поклонился, не то кивнул, не то просто отогнал шального комара, – и, резко повернувшись кругом, беззвучно канул в темноту. Там, куда он ушёл, лишь один раз треснула потревоженная сафьяновым сапогом сухая хворостинка; в путанице чёрных ветвей ещё какое-то время мелькал пляшущий огонь смоляного факела, а после пропал и он.

Леший ещё какое-то время постоял на тропинке, давая глазам привыкнуть к наступившей после ухода Медведя темноте, а потом неторопливо зашагал напрямик через лес к поляне, где остановился на ночлег обоз княжны Басмановой.

Вскоре среди ветвей снова замелькал огонь. Приблизившись, Леший увидел два костра – один затухающий, подле коего спали вповалку вооруженные стражники и справно одетые обозные мужики, и другой, яркий, жадно пожирающий хворост, у которого на деревянной скамеечке сидела, пригорюнясь, княжна. На поляне, призрачно белея во мраке, стоял островерхий полотняный шатёр, внутри которого, превращая его в подобие китайского бумажного фонарика, горели свечи. С краю поляны, в каких-нибудь пяти шагах от Лешего, стоял, опираясь на копьё, караульный в кольчуге и железной шапке; другой, коего даже зоркие глаза лесного жителя не различили бы во мраке, не будь и на нем железного, отражающего свет костра, шлема, неподвижно торчал на противоположном краю поляны. Ещё один воин, по виду – начальный человек, сидел на телеге и любовно точил саблю, проводя бруском вдоль всего лезвия от рукоятки к острию. Он что-то напевал, и монотонное шарканье бруска по блестящему железу служило своеобразным аккомпанементом его немелодичному пению, кое больше напоминало ворчание мающегося животом медведя.

Раздвинув колючие еловые ветви, Леший шагнул на поляну. Караульный по-прежнему стоял лицом к костру, не подозревая, что за спиной у него объявился подозрительный чужак – когда хотел, Леший умел передвигаться беззвучно, как призрак. Оглядевшись, он заметил лежащую в траве сухую ветку и нарочно наступил на неё сапогом. Ветка громко хрустнула; караульный подпрыгнул, словно его ткнули шилом пониже спины, резко обернулся и, уставив на Лешего острие копья, закричал испуганным петушиным голосом:

– А ну, стой! Куды прешь? Стой, кому сказано?!

– Стою, – успокоил его Леший. – Да не ори, всех зверей в округе насмерть перепугаешь. Веди меня лучше к начальным людям.

– Ишь, чего захотел, – преисполняясь важности, которая пришла на смену испугу и была призвана оный испуг скрыть, протянул караульный, продолжая держать острие копья напротив переносицы Лешего. – Может, тебя ещё хлебом-солью приветить, как дорогого гостя?

– И то не помешало б, – не стал артачиться Леший.

– Ишь ты! А вот я тебя, лиходея, сей же час на вертел насажу – поглядим, чего ты тогда запоешь!

– Кабы был я лиходей, так ты б ныне лежал носом в траву и остывал потихонечку, – заверил его Леший. – Я человек не злой...

– Добрые люди в такую пору дома на полатах лежат и десятый сон зрят, – сказал набравший поперед заспанных стражников Васька Бык. – А ну, братцы, вяжи его!

Стражники, соскучившиеся без дела, кинулись, как псы. Леший, не говоря худого слова, дал скрутить себе за спиной руки. Единственное, что он предпринял, дабы предохранить себя от излишнего рвения Быка, каковой стал ясен ему буквально с первого же взгляда, так это незаметно накрепко могучие, вздувшиеся под ветхой рубахой страшными буграми мышцы рук. Когда стражники затянули узлы и, подергав веревки, удовлетворились полученным результатом, Леший расслабил руки, и путы мигом ослабли так, что теперь ему ничего не стоило сбросить их в любую минуту.

– Волоки его к костру, – деятельно распоряжался Бык, не подозревающий о том, что беспомощность пленника является мнимой. – Да хвороста подбросьте! Я ему, лиходею, в глаза глядеть стану. Меня не обманешь! Сейчас разом сведаем, кто таков и чего взыскует! Хотя, мнится, тут и спрашивать ничего не надобно: и так ясно, что за птица, стоит только раз единый на рожу его поглядеть.

– На свою глянть, – не сочтя необходимым сдерживаться, доброжелательно посоветовал Леший.

Вместо ответа Бык ударил его кулаком в живот. Раздался сдавленный болезненный возглас; Леший скупно усмехнулся, глядя на трясущего отшибленной кистью десятника.

– Экий облом-то, – процедил сквозь зубы униженный Бык. – Ей-богу, из цельного дубового комля вытесан! Ну, чего стали?! К костру, к костру его волоките!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.